Галина Николаевна Щербакова

**Пусть я умру, господи**

*Киносценарий*

Ноги в стареньких, рваных кедах, из которых уже вылезают носки, обхватили Нечто.

Нечто тяжело раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Мы видим усилие ног в старых кедах, придающих этому раскачиванию ускорение.

– Слезь, зараза, слезь! – Голос хриплый, из набитого рта. Потом возникает хозяин голоса, строитель в спецовке с откусанным батоном и бутылкой кефира. – Нашлась! Тоже мне! А я возьму и тобой шваркну. Заправлюсь и шваркну! Будешь у меня мокрое место.

– Таких отстрелять – только польза будет. Раньше все стиляги были… А сейчас пошло черт-те что. Я бы стрелял! – Это другой рабочий. Он сидит. У него на коленях аккуратненько на чистом полотенце нарезана колбаса, и он ее ест вилкой-трезубцем.

Нечто продолжает раскачиваться. Мы по-прежнему видим только кеды.

– Тут один, такой же, с десятого этажа прыгнул. Жизнь ему, засранцу, надоела.

Это говорит тетка из проходящих мимо. Поставила пудовые сумки на землю и включилась в разговор с полоборота. Громко так, зло:

– А ну слезь сейчас же, пока я милицию не привела! Слезь, соплячка! Мать небось в очереди стоит…

– Какая там мать… Детдомовские они. – Тот, что с трезубцем, ткнул им в направлении чего-то и многозначительно замер. – Растут без понятия.

– А у тебя его много – понятия? – сказал один из строителей. – Я сам детдомовец, чем я тебя хуже?

– Я не в том смысле…

– Напустились! Стрелять! Чего все такие злые? Гав! Гав!

– Слезай, соплячка! Кому говорю – слезай! – тетка уже кричит, что есть мочи.

На что же, наконец, она смотрит, на кого так кричит?

Ближе, ближе Нечто… Все крупней рваные кеды.

На каменной «бабе», которой рушат стены, сидит «соплячка». И всего ничего ей – лет четырнадцать. И такая она гневная и решительная в этот момент, что тот с кефиром вдруг сказал:

– Да что я сам? Мне этот домик самому нравится… Пусть бы стоял… Хлеба не просит…

Видим домик. Белый, изящный, с колоннами. Но запущенный и облупленный так, как можно запустить дом, если поставить себе эту цель, и никакой другой больше.

Она же, «соплячка», молчала и раскачивалась на фоне старой усадьбы, высотной новостройки, вырубленного сада и нескольких тоненьких, почему-то сохранившихся возле усадьбы березок.

Перепрыгивая через канавы, приближается милиционер.

Ему навстречу бежал прораб.

– Никакой ценности дом не имеет, – кричал прораб. – У меня есть документ из АПУ.

– Слезай! – мягко сказал милиционер. – Чего толпу собрала?

– Крови жаждут! – ответила девочка. – Вот он батон сожрет и будет мною шваркать! До мокрого места.

– Шуток не понимаешь, да? – закричал тот, что с батоном.

– Ты чья? – спросил милиционер.

– Государственная, – ответила девочка. – Значит, ничья. Шваркай, дядя, скорей! У меня ноги сомлели.

– Господи! Господи! – кричала немолодая женщина.

Она бежала, расстегнув пальто, и так махала руками девочке, что толкнула стоящего и наблюдающего пожилого мужчину в каком-то линялом, зашорканном берете.

– Оля! Оля! – кричала женщина. – Они не будут! Они не будут! Академик, святой человек, с ними не согласен! Он им не подписал. – Подбежала к прорабу и сунула ему какую-то бумагу.

Потом кинулась к «бабе» и, причитая, стала снимать Олю.

– Дурочка моя! Раймонда Дьен!

Мужчина в берете пожал плечами и ушел, насвистывая какую-то странную мелодию из нескольких песен сразу.

Дверь, на которой написано «Группа фильма «За океан и обратно».

В нее вошел человек в берете.

Комната полна народу. В центре ее стоял режиссер в позе «воздев руки горе». Видимо, он много говорил до того, а сейчас была немая сцена. Человек, который вошел, снял берет и стал почему-то бить им по колену, будто выбивая из него пыль.

В той же позе – «руки горе» – режиссер закричал сразу очень высоким голосом, отчего и сорвал его тут же до фальцета:

– Я пишу докладную, Иван! Ты не понимаешь моей интеллигентности… В конце концов, у тебя было три месяца… – Он уже почти сипел. – А ты приводил каких-то… Кх-кх-кх… Ме-дуз…

– Кого я приводил? – тихо спросил человек, стуча беретом по колену.

– Ме-дуз… Дайте воды, черт вас возьми. – Все одновременно, кроме Ивана, кинулись к графину. Он был пустой…

Толпой побежали за водой.

Режиссер всем своим видом изображал отчаяние, остальной народ изображал сочувствие, Иван же зачем-то растягивал берет во все стороны и молчал.

Принесли воду. Режиссер, кривясь, залпом выпил стакан и сказал твердым баритоном:

– Последнее предупреждение, Иван… Самое последнее… Мне нужен характер… Личность… Маленькая, но стальная девочка…

– Раймонда Дьен, – сказал Иван. – Ладно, я пошел… – Он нацепил на ухо побитый и растянутый берет и покинул комнату.

– Кто такая Раймонда Дьен?.. – застонал режиссер. – Кто она? Я забыл напрочь.

Все пожимали плечами, переглядывались. Так и не вспомнили.

Сначала мы видим глаз. Большой, красивый, в комочках туши на ресницах, с небесной синевой на веке. Глазу трудно скрыть восхищение самим собой, выражение его такого, что мы должны понять – не каждому такой глаз дается. Это редкий, уникальный глаз.

А потом возникает рука, как бы со стороны, отнимает зеркальце, грубо отнимает, не ценя красоту, и мы увидим ту самую девочку Олю с «бабы», которая в халатике сидит по-турецки на кровати и смотрит на нас двумя разными глазами – парадным (мы его уже видели) и обыкновенным, который на каждый день.

Оставшись без зеркальца, Оля держит в одной руке кисточку для ресниц, в другой, вытянутой, тушь, в которую поплевывает в этот самый момент ее соседка с другой кровати, в таком же точно халатике. Эта другая девочка остервенело малюет в черный цвет абсолютно рыжие и короткие ресницы, что выглядит смешно и грустно одновременно. Потому что – выясняется – рыжесть никуда человеку не деть. Это Катя.

От одинаковых халатиков кажется, что девчонок много, хотя на самом деле их шестеро. Они все сидят по-турецки на примитивных кроватях и занимаются с упоением черт знает чем.

Одна нарисовала себе такие губы, которые «носили» когда-то давно-давно, в эпоху немого кино. В эту эпоху жили бабушки, а может, и прабабушки наших девочек. Это Лорка-великанша.

У другой же на щеке нарисован цветочек. Наверное, где-то это виделось… Это Муха.

А у третьей вообще оказались две абсолютно разные половины лица. Одно «под китаянку», другое «под негритянку». Это Лиза.

У Фати-татарки – сплошная на лице грязь.

Зеркальце, и помада, и тушь, и коробочка самой дешевой розовой пудры, облаком разлетающейся по сторонам – все общее.

И все эстафетно, в строгой последовательности передается из рук в руки. А потому наша Оля так и продолжает сидеть с одним нарисованным глазом. Она терпеливо ждет своей очереди.

Девочки разговаривают.

Это довольно хитрый разговор, в котором вопрос не обязательно требует ответа, а одно слово, для постороннего – пустое, для них – целая речь.

– Экскаватор…

– Запросто…

– Сыпануть в него гравия… И абзац!

– Колония…

– А Клавдя?

– Умом тронется…

– Голодовку?

– Ой! Ни за что! Умру… У меня такая природа. Я бы все время ела…

– Мри на здоровье…

– Дипломатов ненавижу…

– Им быстро строят…

– Можно кафель побить…

– Колония…

– Клавдя… Вот наше горе…

– У нее пульс сто двадцать в покое. Тук-тук-тук… На улице слышно.

– Идиотка старая! А бегает, как здоровая…

Время от времени то одна, то другая вздыхает перед тем, как проштампованным детдомовским полотенцем вытереть глаз ли, щеку с цветочком или губы. Не сразу ведь достигается нужный художественный эффект. Помучаешься…

Дверь комнаты закрыта ножкой стула. А окна загорожены, чем Бог послал. Портфелями, подушками, альбомами, а то и просто газетами. Дело в том, что в комнате нет штор. Болтаются вверху ненужные колечки. На одном висит пришпиленное булавками платье с отпущенным подолом. Нитки на подоле шевелятся, как щупальца.

На стене школьная доска, из тех, что были уже кем-то выброшены. На ней нарисована карикатура на Олю, сидящую на «бабе». И подпись:

Всех, кто тронет этот дом, В порошок сотрем. Это вам не шуточки, Дипломаты в юбочках!

Разрисованные, как дикарки, девчонки с наслаждением разглядывают себя в передаваемое из рук в руки зеркальце.

– У одной моей знакомой тетки, – говорит Катя, – парик серебряный. Она его как наденет – ну! Обвал!

– Парики уже не модны, – отвечает ей Лорка.

– Подумаешь, – отвечает Катя. – Она за него восемьдесят рублей отвалила, что ж теперь, выкинуть?

Должно возникнуть ощущение странности этой комнаты, где нитки у подола платья на кольце шевелятся, как щупальца, где у всех девочек одинаковые халатики, где подушки выполняют заградительную роль на подоконнике, а ножка стула торчит в ручке двери… А на доске написана эта нелепица – дипломаты в юбочках.

Мы видим изящный белый дом со стороны и даже немножко с высоты. Недалеко от него притулился к когда-то литой ограде домишко – не то проходная, не то, по-старому, привратницкая.

Сейчас к ней приближается тот самый человек, который любит почему-то бить по колену беретом. Стоило ему дойти до двери привратницкой, как из нее вышла женщина, которая бежала в распахнутом пальто, кричала «Господи, Господи» и поминала добрым словом какого-то Обручева. Женщина была в таком же, как у девочек, халате, из-под которого торчали черные трикотажные штаны, а лоб ее был туго обмотан мокрым вафельным полотенцем.

– Интересно, куда это вы? – спросила она.

Мужчина стянул с головы зашорканный берет и вежливо ей поклонился.

– Нечего! Нечего! – сказала женщина. – Надевайте его назад. Это закрытая территория. Тут дети.

– А! – протянул мужчина. – А я уж подумал невесть что… Тиф… Ящур… Резервация… Сумасшедший дом. Вообще-то мне нужна Раймонда Дьен.

– Она ничего плохого не сделала! – закричала женщина. – Весь спрос с меня.

Мужчина засмеялся и полез в карман. У женщины в глазах был испуг.

Так и не сняв вафельное полотенце со лба, женщина завороженно слушала мужчину уже в своей комнатке. Руку она держала на сердце.

– Господи Иисусе! Как я обмерла! – сказала она. – Девочка она, конечно, золото… Без троек… И такая мыслящая. Спрашивает тут: не может ли Дарвин ошибаться? Дарвин! Сейчас я ее приведу… А то, что с ней сегодня случилось…

Женщина достала кусок литой ограды и как-то даже слегка завыла.

– Красота-то какая. На это ж еще пятьсот лет смотреть и не насмотреться. Она такая единственная. Ее ж, как дитя, защищать надо… А никому не жалко… Ни дом, ни сад, ни девочек… Куда я только не писала… Хоть бы восемь классов им дали кончить… В своем доме… Спасибо Обручеву… Телеграмму прислал… Девочкам же обидно, они ж тут ходить учились… Я думала, вы из органов. Я такая стала… Всех боюсь… От всех неприятностей жду…

Но тут же сообразила, что сидит в полотенце, и очень засмущалась. Почти до слез. Схватилась за голову и скрылась за шкафом, что стоял поперек комнаты.

Мужчина оглядел весьма аскетическую каморку. В «красном углу» висели два портрета, видимо, из «Огонька» – Макаренко и артиста Ульянова.

– Родственники? – шутейно спросил мужчина.

Женщина вышла из-за шкафа, ладонями приглаживая волосы.

– А если по-человечески, все мы родственники, – печально ответила она. – Только забывать стали про это… А моя бабушка по матери Ульяновой была…

Мы снова видим девочек. Накрашенные, в одинаковых халатах девочки танцуют под «ля-ля-ля». Этот танец – помесь всех танцев сразу.

Солирует Оля.

Когда стул в двери начинает дрожать от стука, стоящая на притолоке двери вывеска «Детдом № 11 Березовского района» валится на пол.

За дверью крик:

– Что там у вас происходит? Откройте сейчас же! Немедленно! Оля, Лера, Катя!

Оля громко вздохнула и сказала не то себе, не то всем:

– И чего это ей не сидится на месте?

Именно она, не торопясь, босиком пошла к двери, ногой отодвинула упавшую вывеску и вынула стул из ручки.

– Господи! – сказала вошедшая. – Сколько раз вам говорить. От косметики – ранние морщины. Самая красивая женщина – это та, которая просто чисто умыта.

– Ха-ха-ха! – сказала рыженькая. – Вы как скажете, Клавдя-ванна, так хоть стой, хоть падай…

Клавдия Ивановна вздохнула, потому что, видимо, сама точно не была уверена в том, что говорила.

Но все-таки она была женщина, поэтому осторожно, неуверенно, а потянулась к баночке, пальцем мазнула по румянам и как-то тупо уставилась на пятна.

– А теперь на щечку! – засмеялась та, что из немого кино. – Давайте я вас… – И девочка было кинулась к ней, но Клавдия Ивановна решительно вытерла палец о штаны и сказала:

– С вами умом двинешься… – Прочла написанное на доске. – Почему в юбочках? – с тоской спросила она. – Забыла, зачем к вам шла… Сбили вы меня с толку… О Господи!.. Там пришел один… Говорит, что режиссер кино, и документ при нем. Поговорить с Олей хочет…

– О чем? – спросила Оля почти сердито, потому что у всех девчонок рты от удивления оказались открытыми, и именно это заставляло Олю вести себя именно так и даже чуть с пренебрежением.

– В кино снять… – почему-то виновато сказала Клавдия Ивановна и стала намачивать полотенце водой из графина. – Он тебя приметил… – Лукаво: – Когда ты на «бабе» сидела… Надо, говорит, ее попробовать…

– Я не суп, чтобы меня пробовать, – сказала Оля, но тут начался такой визг и такие эмоции, тут так все к ней кинулись, что уже через секунду нельзя было понять, кто есть кто. Была просто куча-мала перемазанных девчонок.

Клавдия Ивановна полотенцем вытерла лицо Оли. Девчонки надели на нее платье, даже обули ее, а Оля покорно стояла, и лицо у нее было детское-детское, растерянное-растерянное.

Потом Клавдия Ивановна и Оля шли по заваленному строительным мусором двору. Прошли мимо той самой «бабы». Клавдия Ивановна улыбнулась и хотела что-то сказать, но Оля споткнулась о какую-то трубу и едва не упала.

– Да что ж ты такая! – испугалась Клавдия Ивановна. – Когда ж я научу тебя под ноги смотреть… Всю жизнь головой вверх, ну что ты у меня за человек?..

Оля насмешливо посмотрела на Клавдию Ивановну, которая в волнении всегда не умела выражаться.

– Ладно, – сказала она. – Я буду головой вниз.

Клавдия Ивановна вздохнула.

– Все бы вам над Клавдией смеяться. Дура она у вас… А вот снимут тебя в кино, еще заскучаешь. – Вдруг неожиданно, артистично даже, передразнивает: – Где ж ты моя Клавдеюшка? Кто ж мне косичку заплетет? – И совсем в другой тональности, со слезами: – Ты маленькая была – худющая, в горшок проваливалась… Артистка! Приходилось тебя под мышки держать…

С этими словами она привела Олю к себе, где на казенном стуле возле казенного стола сидел уже знакомый человек. От его тоскливости не осталось и следа, и если можно человеку светиться, то он – да, светился, когда смотрел на Олю.

– Чуть ногу сейчас не сломала… – сказала Клавдия Ивановна. – Чтоб ей под ноги смотреть, специальный указ писать надо…

– Здравствуй, Оля! – сказал режиссер. – Меня зовут Иван Иванович. Легко запомнить…

– Я тоже Ивановна, – зачем-то сказала Клавдия Ивановна, и на лице ее промелькнуло что-то вроде гордости, но тут же гордость исчезла. Не это было сейчас главное.

Клавдия же Ивановна очень ревниво и пристрастно смотрела то на режиссера, то на Олю. Потом она подошла и перебросила челку девочки слева направо, а пуговицу верхнюю под горлом расстегнула, давила пуговица.

От этих ее нехитрых стараний лицо у Ивана Ивановича стало чуть печальным, что совсем уж расстроило Клавдию Ивановну. Она вдруг даже испугалась: а вдруг Олю не возьмут? То есть как не возьмут?

– Они у меня все артистки, – с вызовом сказала Клавдия Ивановна. – Хоть кого берите… И не сомневайтесь. Детдом наш уже полгода как расформировали… А эти девочки все такие способные, такие способные… Решили из восьмого класса их пока не срывать… Вот я и бегаю, чтоб дожить дали… Восьмой кончат – в ПТУ пойдут, а у меня уже стажу тридцать три года…

– Так много? – удивился Иван Иванович.

– Да! – печально сказала Клавдия Ивановна. – Я уже старая, я тут с детства, с войны… Тут и в школу пошла, и кончила, и работать осталась…

Она осеклась, потому что испугалась, что человеку это может быть неинтересно. При чем тут она?

– А Олечка, – перешла она сразу к другой теме, – у нас очень одаренная по литературе… Такие пишет сочинения… «Человек – это звучит гордо». Ну, ничего… Теперь ПТУ хорошие. Среднее образование… Можно и дальше, если не дурак…

– Я пойду в швейную мастерскую, – сказала Оля. – Сколько можно говорить?

Такое страдание, такую муку выразило лицо Клавдии Ивановны, что не сказать… Оля увидела, вздохнула и поняла, что надо менять тему.

– Вы не похожи на режиссера, – сказала она Ивану Ивановичу. – Вы похожи на нашего плотника…

Клавдия Ивановна абсолютно непедагогично пнула Олю ногой под столом.

Иван Иванович засмеялся каким-то тихим, коротким смехом.

– Вообще-то, – сказал он, – я режиссер не главный.

– А! – разочарованно вздохнула Оля.

– Какая разница, какая разница! – закудахтала Клавдия Ивановна. – Сегодня не главный, завтра – главный.

– Нет, – сказал Иван Иванович, доставая сценарий. – Со мной этого не будет. – Засмеялся. – Но плотники ведь тоже нужны? И не главные нужны… Вот сценарий. Прочти к завтра. Ладно? И приходи на студию… Адрес на сценарии… Мы тебя сфотографируем… Если ничего у нас не выйдет – ты это знай, вполне может не выйти, – фотографии на память будут…

– Выйдет! – закричала Клавдия Ивановна. – Чего это не выйдет?

– Не пойду! – ответила Оля. – Я хочу быть портнихой… Простыни шить, наволочки… Полтораста смело можно выгнать…

– Куда выгнать? – спросила Клавдия Ивановна. – Что ты чушь мелешь?

– Мне полтораста надо в месяц, – сказала Оля. – Ни рубля меньше. У меня запросы большие. Сколько в кино платят?

Иван Иванович с интересом смотрел на девочку. Ему нравилось, как она врет, как она сидит за столом, обхватив ногами ножки стула. Надо было видеть и лицо Клавдии Ивановны, которая в этот момент не узнавала свою воспитанницу. Господи! Какие простыни? Какие наволочки? Какие полтораста?

– Что о тебе человек подумает? – сказала она. – В деньгах, что ли, счастье? Ты что – шкурница?

Оля хмыкнула так, что можно было не сомневаться – да, шкурница.

– Значит, до завтра, – сказал Иван Иванович. Он положил руку на плечо Оли и слегка погладил… Чуть-чуть… Куда только делась меркантильная швея-мотористка! За столом сидела растерянная и польщенная девочка… Иван Иванович увидел все это в зеркале с отбитым краем, которое стояло на верхней полке этажерки неизвестных времен. Увидел и улыбнулся.

Клавдия Ивановна разрезала на толстые куски два батона по тринадцать копеек. Из старенького холодильника «Север» достала колбасу в лопнувшей пленке, нарезала ломтями. И все это сунула в пакет.

– Кто из вас хлеб не ест? Выкидывает? Все надо есть с хлебом! Все! В нем весь рост, вся сила… И экономия… Одной колбасы сколько можно съесть?

Оля стояла у двери, ждала…

– А про деньги, что ты болтала? Чужой человек… Тебя не знает… Что подумает? Что для тебя, деньги – все?.. Стыдно это… Человек – он старше денег… И умнее. Это он их придумал, а не они его. А ты – полтораста, полтораста!..

– Жить хочу, как человек, – ответила Оля.

– А как человек – это как? – Клавдия Ивановна в сердцах даже села на табуретку. – Ну как?

– Чтоб даже курице не стыдно было в глаза посмотреть, не говоря о кошке, – отрапортовала Оля и засмеялась. – А также собаке, червяку…

– Молодец, – перебила Клавдия Ивановна, вставая. – Помнишь… И на том спасибо… Ладно, иди… Читай свое кино… Это ж надо! На кран влезла – и здрасте вам!

Оля уже через порог переступила, а Клавдия Ивановна крикнула:

– А зазнаешься – отрекусь! И смотреть тебя не пойду. И девчонкам не велю.

– Могу вообще туда не ходить, – ответила Оля. – Можно подумать, что рвусь и плачу.

– Ну знаешь! – нелогично возмутилась Клавдия Ивановна. – Еще как пойдешь! Как миленькая у меня пойдешь. Обеими ножками. Не пойдешь – отведу поневоле.

На другой день Оля оказалась в большой комнате, где сидело много разных девчонок. Она сидела в углу и молча всех презирала. Она презирала лейблы, которых было неимоверное количество на юбках, брюках, куртках. Она ненавидела сережки и брошки. Она ненавидела умело подсиненные веки, контуром обведенные губы. Сама она была чисто вымыта по законам красоты Клавдии Ивановны. В этот момент в своем лучшем костюме за пятьдесят четыре рубля тридцать копеек в уцененном отделе и уцененном румынском пальто она ходила туда-сюда перед студией, и Оля видела ее в окно, но не решалась ей крикнуть, хотя окно было приоткрыто и крикнуть можно было запросто.

В комнате же, кроме Олиного презрения и хорошо одетых девочек, было много чего другого.

Во-первых, была большая печальная собака на руках очень веселого, перед всеми заискивающего человека. Человек старался всем попадаться на глаза и даже тыкал в людей бедной собачьей мордой, повторяя: «Она не жилец, точно. Я вам гарантирую!»

Люди от этих слов шарахались, а человек почему-то, наоборот, радовался.

Был усталый, слегка помятый господин.

– Вы что, ненормальный?

– Да нет! – радостно сказал человек. – С живодерни я…

– Эй! – крикнул помятый заполошному директору картины, который вбежал, сказал «ага!» и тут же стал убегать. – Эй! Мне на сегодня СВ сделали? – И разведя руками, он сказал сразу всем: – Устал зверски. У меня параллельно фильм в Белоруссии. Я неделю уже сплю в поезде.

Был оператор, который морщился, глядя на собаку, на девочек, на усталого артиста, будто у него болели зубы.

Пришел фотограф и громко спросил:

– Будем делать искусство фотографии или как?

Прибежала ассистентка с картонными номерами.

В общем, был бедлам.

Входили и выходили какие-то люди, говорили про какие-то беспорядки в организации, а погода, дескать, стоит только «снимай-снимай»! Зашел какой-то тип, посмотрел на всех девчонок сразу и сказал кому-то в коридоре.

– Ивашка в своем репертуаре! Бери – не хочу, и не надо…

Оля возненавидела типа. Ивана Ивановича не было, то есть он тоже заскакивал, но так, будто руку ей на плечо вчера не клал. Поэтому Оля его возненавидела тоже.

Клавдия же Ивановна печатала внизу шаг, и вид у нее был как у человека, готового на всякий случай к защите и обороне. А так как для такого дела надо как следует выглядеть, Клавдия Ивановна зашла за угол, оглянулась и, чтоб никто не видел, подтянула юбку и колготки сразу, одернула кофту, потыкала пальцами в волосы и решительно вышла на открытое пространство.

Кто ж знал, что угол этот, спрятанный от улицы деревьями, из окна, где битком было людей и сидела Оля, был хорошо виден. И надо было такому случиться, что одна из девчонок, вся такая нежная и ломкая, как стебелек, с удивительно прозрачной кожей и необыкновенно легкими, шелковистыми волосами, смотрела в этот момент в окно и видела неуклюжую Клавдию Ивановну с ее этими неуклюжими жестами.

Юля, так звали шелковистую, смотрела в окно не просто так. Она нарочно встала со стула и поворачивалась туда-сюда, потому что оператор с гримасой зубной боли остановил на ней взгляд и смотрел теперь в упор на нее, отчего Юля и демонстрировала себя на контражуре.

Правда, оператор быстро отвернулся, Юля же в этот момент подглядела Клавдию Ивановну и презрительно засмеялась, откинув фарфоровую головку.

Оля тоже все видела. Она ведь все время поглядывала на Клавдию Ивановну, и ничего ей сейчас так не хотелось, как прыгнуть из окошка третьего этажа прямо к ней. Тем более что оператор смотрел теперь на нее, смотрел серьезно, и у него, кажется, перестали болеть зубы. Он даже улыбнулся Оле через проходящую боль и подмигнул заговорщицки, а Юля, такой она человек, принимала это подбадривание на свой счет и смеялась смехом-колокольчиком. Конечно, она была самая красивая, что там говорить…

Но тут пришел человек, и сразу стало ясно, что пришел главный режиссер, а не какой-то там плотник… Или даже страдающий зубами оператор.

Он поклонился всем девочкам сразу, но каждая решила, что он поклонился именно ей. Это было высокое искусство. Потом он сделал широкий жест и сказал стоящему за ним человеку с фотоаппаратом, который кричал про «искусство фотографии»:

– Мишенька, сними их всех лучшим образом. Милые мои, – сказал он девочкам, – все, все, идите за Михаилом Абрамовичем. Он вас сфотографирует.

Они как-то очень громко топали по студийному коридору. Оле стало неловко от этого стадного топанья, и она отстала, и вместе с ней отстала Юля.

– Что у тебя в руках? – спросила она.

– Сценарий, – ответила Оля.

– Тебе дали? Тебе уже дали?

Оля смотрела, не понимая, а Юля сверлила ее злыми, не подходящими для красоты глазами.

– Кто дал? Кто? – допытывалась она.

– Чего пристала? – возмутилась Оля. – Мне его домой доставили! В постельку!

И ушла гордо.

В фотолаборатории на девочек вешали те самые картонные номера, которые мы уже видели. Оле повесили номер «пятый», а Юле – «первый». И Юля снова засветилась, потому что увидела в этом добрый знак.

Все было отвратительно. Белый, раздевающий свет. Высокий неудобный стул. Номер на груди, как для казни. Фотограф Миша холодными пальцами поворачивал подбородок, закидывал за уши волосы или спускал их на лоб. Оля вся просто закаменела, и только глаза ее гневно светились.

– Эта? – спросил тихо Главный. Он пришел вместе с Иваном Ивановичем.

– Эта, – ответил Иван Иванович.

– Что-то есть, – задумчиво сказал Главный.

– Что-то! – возмутился Иван Иванович. – Норов!

– Ну-ну… – сказал Главный. – Как говорит один мой знакомый поляк – посмотрим-увидим.

Они стояли в павильоне, и Оля просто умирала от страха, но старалась держаться так, чтобы никто это не заметил. Просто ей от волнения обязательно надо было за что-нибудь держаться. Она держалась за какую-то черную треногу. И косточки пальцев ее побелели.

– Открой, детка, сценарий на пятнадцатой странице, – ворковал Главный. – Что там у нас? «Она сидела на подоконнике, свесив ноги с третьего этажа, и крупные слезы катились по ее щекам». Где у нас третий этаж? – Главный поставил стул. – Сядь так, будто под тобой десять метров пустоты.

Оля села, и случилось удивительное: все увидели на ее лице… подавленный страх и презрение к страху, вызов и дерзость. У нее было сейчас такое же лицо, какое было на «бабе».

– Ничего! – удовлетворенно промурлыкал Главный. – А заплакать сумеешь?

– Нет! – твердо сказала Оля.

– Еще как сумеешь! – Главный подошел и заговорщицки сказал: – Представь, что твоя мамочка тебя очень расстроила… Ну, к примеру… Не купила тебе… Адидас… Дубленку… Аляску!!!

Надо видеть, как лицо Оли делается чужим, отсутствующим от этого перечисления. Это замечает Иван Иванович.

– Что не купила? – спрашивает Оля. – Какой остров?

– Чудачка! – воркует Главный. И Ивану Ивановичу: – С юмором она у нас… Курточку «Аляска», девуленька! Вы же теперь за курточку и убить можете. – Главный похохатывает.

– Можем! – отвечает Оля. Она смотрит на Главного в упор, черным взглядом. Тот слышит только себя.

– Вот! Вот! А ты мечтала о ней, ты уже представляла, как ходишь в ней по улице, как тебе все завидуют, и нате вам… Куртки не будет… Представь это, детка! Ведь до слез же обидно… А мамочка тупая, не понимает, накричала не по делу… А папочка вообще… Ну, одним словом… Скандал. Можешь себя растравить в этом духе? До слез?

– Могу, – ответила Оля. – Я просто прыгаю с третьего этажа вниз головой.

Она спрыгнула со стула, как с третьего этажа, и ушла из павильона.

Она шла, и по ее лицу катилась большая и злая слезинка. На выходе она так хлопнула дверью, что задребезжали стекла.

Клавдия Ивановна все так же печатала шаг. Увидев ее, Оля старательно шмыгнула носом и вытерла щеки. Во всяком случае, к воспитательнице она подошла почти в порядке. А некоторая покраснелость лица вполне объяснялась ситуацией.

– Ну? – не своим голосом спросила Клавдия Ивановна. Дорогой дешевый костюм был под пальто сдвинут, таково было качество ткани – она не держалась на месте, – и его уже пора было поправлять. Бусы из косточек перекрутились у горла. Лицо Клавдии Ивановны было воинственным и перепуганным сразу.

– Я им не подошла, – сказала ей Оля. – Такая все чухня! Сядь, говорят, на третий этаж и ноги свесь!

– Они что, спятили? – возмутилась Клавдия Ивановна. – А ну пошли отсюда!

Они выросли из-под земли. Главный и Иван Иванович.

– Оля! – сказал Главный. – Люди делятся на умных и не очень. Тебе сейчас не повезло, ты встретилась с «не очень».

Клавдия Ивановна от удивления открыла рот и автоматически закрыла Олю своим телом.

– Ну вы… – сказала она ему. – И вы тоже. – Это уже относилось к Ивану Ивановичу. – Если вы тогда ее увидели на кране, так что ж, по-вашему, ею можно рисковать? Садитесь сами и свешивайте ваши ноги откуда хотите. А я ей не позволю. Она ребенок! И защита у нее, слава Богу, еще есть!

Оля же смеялась. Первый раз в жизни взрослый человек честно признавался ей, что он неумный. Это было ни на что не похожее признание, но оно было приятным.

– Прости меня, идиота, – сказал Главный. – Прости, и, пожалуйста, давай вернемся… Понимаешь… Дочка моя устроила мне вчера такую истерику… Из-за куртки… Мне ее убить хотелось.

– Какой куртки? – Клавдия Ивановна по-прежнему держалась воинственно.

– Извините, – сказал Главный. Он взял руку Клавдии Ивановны и поцеловал ее. От растерянности Клавдия Ивановна стала трясти кистью, будто ее не поцеловали, а прищемили дверью.

Иван Иванович же молчал. Он смотрел на Олю, а когда она все-таки пошла за Главным, тронул ее за плечо и погладил его.

В павильоне суета. Ставят свет, ругаются. Проверяют, все ли на месте в красивой трехкомнатной квартире, которую и представляет собой павильон.

Иван Иванович привел в «квартиру» Олю.

– Вот тут, значит, ты живешь… В смысле – она. Освойся…

Оля осталась одна. Стояла в «прихожей» и боялась идти дальше. И вдруг из «окна», настоящего, с подоконником и стеклами, появилась рука, отодвинула занавеску, и мы увидели шелковистую Юлю, что смотрела на Олю прямо и дерзко.

Хлопнула створка, только занавеска по-прежнему шевелилась.

И тогда Оля решительно пошла к окну и увидела стоящую напротив крашеную декорацию, изображающую высокий дом и деревья, и уходящую Юлю.

Теперь, двигаясь по квартире, Оля будет искать «ненастоящесть».

Медленно трогая руками вещи, Оля проходит по комнатам, ища обман.

Пианино – играет.

Гитара – звенит.

Кубик Рубика – вертится.

Собрание сочинений Конан-Дойля – пустые обклеенные коробки.

Платья в шкафу – настоящие.

Яблоки в вазе – из папье-маше.

Была большая картина, на которой изогнутая худенькая девочка, шар и великан с квадратными плечами.

Оля смотрела на эту картину. Картина была ненастоящая, плохая копия. Но девочка была живой. И даже будто похожей на Олю.

Глаза у Оли были расстроенные, печальные и сердитые сразу. Она взяла яблоко и запустила им в картину. Яблоко мягко шмякнуло.

Потом Оля села в кресло – настоящее, глубокое, подняла голову и не увидела потолка.

В кухне капала вода из крана, а рисованный дом напротив «зажегся огнями». Оля повернула ручку радио, и комнату заполнило «на тебе сошелся клином белый свет».

За стенами «квартиры» кто-то громко сказал:

– Верхний свет не работает… Скажите электрику.

– Он за сосисками, в буфете…

– Чтоб он подавился ими, – пожелал кто-то усталым голосом. – Никогда его нет…

Оля встала, подняла яблоко и аккуратно положила его на место.

Раздался настоящий звонок в дверь, и вошел Иван Иванович, стуча беретом по колену.

– Ты ж читала, – сказал он. – Это очень обеспеченная семья. Ничего тут особенного… Так теперь многие живут… И это ведь хорошо?

Но спросил это как-то неуверенно – про «хорошо». Как будто в чем-то сомневался.

– Конечно. Хорошо, – твердо сказала Оля, – хорошо жить лучше, чем жить плохо…

– Вот видишь, – обрадовался Иван Иванович, – понимаешь… Сама же хочешь сумасшедшие деньги. Полтораста в месяц.

– А у этих… У них сколько в месяц? – Оля показала на квартиру.

– Ей-богу, не знаю! – сказал Иван Иванович. – Ну не бедствуют…

– Но им, – ответила Оля. – Этим… Как и моим родителям… Им все время чего-то не хватает, да? Они хотят лучше еще и еще. А она… То есть я… Не хочет это понять… Так? Чего она все время базарит?

– Да она просто не хочет, чтобы родители уезжали. И все. Ничего больше. Просто хочет быть с мамой…

– Но если мама это не понимает, значит, для мамы что-то важней? Они едут за тряпками?

– Да нет… Они специалисты… Их приглашают на интересную работу… А ты в восьмом классе… И еще в музыкальной школе. Тебе надо учиться.

– Им на это наплевать?

– Они же не бросают тебя на произвол. У тебя замечательная бабушка!

– Бабушка – сволочь… Ей уже за пятьдесят, а у нее любовник. Она и собаку усыпляет…

– У собаки рак. Я тут недавно читал – животные болеют человечьими болезнями.

– А наоборот?

– Не понял…

– Ну, может человек взять и покусать кого-нибудь? – Оля смотрит насмешливо.

– Может, – сказал Иван Иванович, – только собаки и животные тут ни при чем. В человеке, знаешь, столько всего намешано… Но я тебе скажу: все в нем человеческое – и плохое, и хорошее… Все дело в том, что берет верх.

– А что у них, – Оля обвела руками комнату, – берет верх?

– Черт их разберет, – проворчал Иван Иванович. – Вникай! В человека нырнуть страшней, чем в море…

Как раз в этот момент в павильон вошли актеры, которые будут играть родителей девочки, Главный, художницы.

– Ну, дети мои! – воскликнула Актриса-мать. – В престижных домах давно все не так. Никто уже не ставит эти идиотские стенки.

– Я все делала по каталогу! – У художницы тут же навернулись слезы.

– Лина! Перестаньте! – Это Главный. – У меня тоже было ощущение чего-то не того. Разве я вам не говорил?

– Нет! – крикнула художница. – Вам понравилось! Вы мне поцеловали руку!

– Лина! – крикнула Актриса тоже. – Я ненавижу эту вашу манеру сразу плакать…

– Я не плачу! – плакала художница.

– А я плачу! – не плакала Актриса. – Потому что в этой семье ничего вчерашнего. Все послезавтрашнее… В этом же соль. Они бегущие! Они спринтеры!

Увидев Олю, она остановилась и внимательно на нее посмотрела.

– Прелесть! – сказала. – За эту девочку прощаю все остальное. Самое то! Такая маленькая очаровательная гадина. – Она прижала Олю к себе и добавила: – Не сердись. У меня у самой гадина. И сама я такая! Все такие!

Главный засмеялся и подмигнул Оле.

– Это юмор… Это ее юмор…

Актер-отец подошел к Оле и пожал ей руку. Это был тот самый мужчина, который хлопотал о билетах СВ.

– Все о'кей, – сказал он Иван Ивановичу. – Нормальная квартира. Бегущие, стоящие, лежащие. Я лично в этом не разбираюсь. Все люди, все человеки… Все блошки, все прыгают… Всех жалко… Всех удавить охота…

– Ты не человек, ты – безразмерная авоська! – кричала Актриса уже из соседней комнаты. – Стенку к чертовой матери. Это безусловно. И Пикассо – к той же матери! Девочка на шаре. Просто девочка. Двадцать два… Перебор.

Актриса стремительно вернулась, обняла Олю и отвела ее в сторону. Надо видеть глаза Оли – непонимающие, восторженные, испуганные, благодарные, влюбленные, принявшие эту сумасбродную с виду женщину раз и навсегда.

Актриса наклонилась к Оле и сказала решительно:

– Потом все про себя расскажешь! Кто папа, кто мама? Кем они работают? Все, все…

Главный просто застонал, у Ивана Ивановича почернело лицо. Актриса же поцеловала Олю в макушку, упорхнула, пнув по дороге низкое кресло на колесиках:

– Где вы нашли этого урода? Это же квартира выездных людей!

– А что значит выездные? – тихо спросила Оля Ивана Ивановича.

– Те, кто работает за границей… Ну, в общем… которым поездка туда не проблема… – Тихо: – За эту возможность перегрызают горло.

– Я поняла, – сказала Оля. – Это кино про людоедов! Кровь – рекой…

– Ничего подобного! Мылодрама.

Подошел Главный, в общем довольный.

– Ты понравилась… Примерь на себя платьице какое-нибудь и походи в нем. Пообвыкни… С ней всегда сначала трудно, а потом работает, как лошадь. – Это он Ивану Ивановичу об Актрисе, а Оле строго: – Текст выучи. Ты поняла, с кем будешь работать? Поняла? Потрясная баба, извини, детка, женщина. Великая актриса! Ух! Всех заводит вполоборота… Такой темперамент… Я уже боюсь…

– А кто может стать выездным? – спросила Оля. – Любой или что-то надо особенное?

Мужчины посмотрели друг на друга, вздохнули, и Главный не сказал – произнес:

– Надо быть лучшим из лучших. Они – лицо нашей страны – там!

– Ха! – сказала Оля. – Общий смех!

Она посмотрела на часы на стенке.

– Они не идут, – сказал Иван Иванович. – Сейчас без десяти пять…

На часах без десяти пять. Клавдия Ивановна смотрит на часы, придерживая рукой горчичник на затылке.

Телефонный звонок.

– Господи! – закричала она. – Где же тебя, заполошную, носит? – И радостно: – Ага! Ага! Ну еще бы! Ну, давай, ну, скорей…

Положила трубку, положила на стол голову.

Вечером в спальне творилось черт знает что. Все было сдвинуто с места, все валялось как ни попадя. Оля сидела в центре, возбужденная и усталая, а девчонки требовали подробностей.

– А тебя гримировали?

– Меня попудрили… Я красная была, как рак…

– А других девчонок, значит, побоку?

– Ага! Одна там была… Так злилась! Вот дай ей возможность – удавила бы!

– На всех теперь плюй! На всех! Наша взяла!

И они устроили пляску под собственную музыку. Может, похоже плясали дикари, победив большого зверя. Во всяком случае, это было очень радостно.

И тут раздалась сирена «Скорой помощи», где-то совсем рядом. Девочки выглянули в окно и увидели, что машина остановилась возле домика Клавдии Ивановны. Всех как ветром сдуло.

В чем были, они ворвались к воспитательнице, которая растерянно лежала на диване, и ей делали укол. Совсем молодой врач.

– Девочки! – слабым голосом закричала Клавдия Ивановна. – Вы почему не в постелях?

– Я девчонкам как раз рассказывала… – сказала Оля.

– Умница! – слабо проговорила Клавдия Ивановна. – Это хорошо… Ты им все подробно рассказывай… Это ж так интересно. Кино!

– У них там яблоки, – сказала Муха, – из трухи… Отпад! Потолков в квартире нету!

– Дурят нашего брата! – Это они все хором, из Райкина. И засмеялись.

– Это вы ее довели? – спросил совсем молодой врач, с любопытством разглядывая девчонок.

– Что вы! – возмутилась Клавдия Ивановна.

Но тот имел, видимо, свою точку зрения.

– Коровы здоровущие! – сказал он им. – У человека гипертония… Ей покой нужен… Ржете, как кони…

– Все-таки коровы или кони? – спросила Оля.

– Ишь! Все слова под языком! – ответил врач. – Чтоб она у вас неделю лежала. Ясно? А вы чтоб были тихие ангелы… Может, придется побегать по аптекам… Имейте это в виду…

Он писал рецепты, а девчонки расселись возле Клавдии Ивановны. Оля толстыми ломтями разрезала батон и колбасу в рваной оболочке.

– Главное – питание, – говорила рыженькая Клавдии Ивановне. – Скажите, чего вам хочется!

– Девочки мои, девочки! – шептала Клавдия Ивановна. – Мне бы дожить, чтоб вы школу окончили, потом училище и чтоб устроились как следует. Я встану и пойду по ПТУ. Я в какое зря вас не отдам. Чтоб и одежда была, и питание.

Девчонки хором: «Ульянову напишите!»

Все засмеялись. Врач не смеялся. Он смотрел и слушал.

– Все-таки вам чего больше хочется – селедку там или какую-нибудь грушу? – спросила Катя.

– Сами ешьте как следует, – ответила Клавдия Ивановна.

Они дружно чавкали бутербродами, а Клавдия Ивановна лежала с закрытыми глазами и была почти счастлива. Невероятно устроен человек.

Врач положил на стол рецепты и ушел. Лицо у него было печальное.

Они сидят уже в переделанном павильоне. Вместо Пикассо висит математически загадочный Эшер. Пикассо же стоит на полу, вверх ногами.

Камера, свет, толпа людей. Актриса и Оля стоят перед Эшером. Главный объясняет задачу.

– Это первый наш разговор об отъезде… Вы, – Актрисе, – даже себе представить не могли, что она, девчонка, может быть против… Вы такие инстанции прошли – и тут нате вам…

– Еще одна инстанция, – смеется Актриса.

– Ты, – Оле, – говоришь свои слова так, что мать просто теряется. Извини за грубость, обалдевает. Вот попробуй.

Оля молчит. Она смущена и растеряна. Все смотрят на нее, ждут. И тогда Актриса-мать из-за чьей-то спины пошевелила ей пальцами, подбадривающе и даже как-то ласково. Если все в этой комнате сейчас принадлежали всем, то знак этих пальцев принадлежал только ей, Оле. Что-то сильное, прекрасное, от нее не зависящее, вспыхнуло и расцвело в ней, и уже не она, а Та, Другая, произнесла:

– Я не хочу, чтобы вы улетали!

В словах было столько страсти, гнева, мольбы, настояния, что Актриса совсем не по роли вздрагивает и смотрит на Олю почти с испугом.

– Вот это да! – говорит она Главному. – После такого порядочная мать останется.

– Да, – растерянно говорит режиссер. – Замечательно, девочка! Ты – непорядочная, – это он Актрисе.

– Пардон! – кричит она. – В сценарии я нормальная современная женщина-спринтер и нормальная мать… Я не хочу и не буду играть сволочь.

Главный растерян.

– Я поняла, – смущенно сказала Оля. – Я не так сказала. Они ведь мне не нужны вовсе. Пусть улетают. Я притворяюсь, что мне жалко. Они притворяются, что им жалко…

– Ничего себе поворотик! – смеется Актриса. – А что? Вполне!

– Все в этом мире перепуталось. Хорошее так непринужденно переходит в плохое, что люди это даже не замечают. У нее, – Главный показывает на Олю, – нет этих размытых критериев. Хорошее у нее – хорошее, а плохое – плохое… Вот она и возвращает первоначальный смысл словам.

– А ты не боишься этого? – спрашивает Актриса. – Это опасное дело, голубчик, отмытые слова… Я даже не уверена, что люди этого хотят.

Иван Иванович кормит Олю в столовой. Подошел к буфетчице, просит:

– Зин! Ты возьми сметанку и обмажь цыпленочка. А? И под крышечку на пять минут. А?

– Привет! – отвечает Зина. – Я тебе кто? Повар? У меня курица отдельно, сметана отдельно. Горячие только сосиски.

– Зин! – просит Иван Иванович. – Смотри, что я тебе дарю! – Протянул ей роскошный календарь с актрисами, правда, за прошедший год.

– Обалдеть! – сказала Зина, взяла календарь и стала смазывать курицу сметаной.

За соседним столом Актер и Актриса.

– Ты заметил? – спросила Актриса. – Ивашка ее кормит на свои… Где-то достал импортный лимонный сок… Поит ее все время… Стоял в очереди за ананасами.

– Лучше б копил на старость… Его после этого фильма отправят на пенсию… Я сам слышал… И то… Сколько ж можно?.. Пора и честь знать… Слушай, мне нужна хорошая оправа… Где взять? Я просто умираю.

Актриса не спускает глаз с Оли. Она будто не слышит Актера.

– До чего мы дожили! – говорит она. – Трепачи. Я ее бельишко видела. Такое! А сорок с лишним лет войны уже нет… А детдома есть… Какая-то сволочь оставила такую девчонку в роддоме. – Зло, ненавидяще: – Оправы вот нет! Горе-то какое. Ты, оказывается, просто умираешь… Господи, что это с нами?

Он, обидевшись и тоже зло:

– Это я все сделал? Я? Нашла крайнего.

Клавдия Ивановна в своем самом дорогом костюме, который мы уже видели, с большой сумкой вошла в кабинет инспектора гороно Людмилы Семеновны. Она тяжело, прерывисто дышит.

– Я тебя сейчас убью, Кланя! – закричала инспектор и кинулась к сумке. – Ты что себе носить позволяешь, старая дура?

Людмила Семеновна хорошо, эффектно одета, она вполне современная модная дама, но в общении с Клавдией Ивановной должно происходить ее превращение в бывшую беспризорную, бывшую детдомовку. И должно быть ощущение, что в старой коже ей легче. Вот она сейчас, когда пытается поднять сумку Клавдии Ивановны, такая. Прежняя. Поэтому бывшая детдомовка вполне может открыть чужую сумку и посмотреть, что таскает «эта старая дура!».

В сумке лежит кусок литой ограды.

– Слушай! – кричит Людмила Семеновна. – А чего ты сюда не запихала всю усадьбу? Чего уж мелочиться? Таскать так таскать!

– Архитектор тут у вас молоденький… Заинтересовался, – бормочет Клавдия Ивановна.

– Да нету в ней ценности! Нету! – кричит Людмила Семеновна. – Рядовой графский дом… Тогда все строили красиво, но сегодняшним людям место надо или как? Их куда? Если б там хоть какой-нибудь завалященький писатель или художник жил, а то – нет! Нет! Никто не жил. Тогдашняя шушера…

– Красота, она для всех, – тихо говорит Клавдия Ивановна. – Мы с тобой у этой ограды в дочки-матери играли.

– Кланя! Не рви мне душу… Я и так тут из-за тебя со всеми поругалась… Чего там твоя девчонка натворила? Залезла куда-то. Фильмов, что ли, насмотрелась?

– Чего ей их смотреть? – гордо ответила Клавдия Ивановна. – Она сама в них играет.

– Мать честная! Да ты что? Ну мы даем!

Лицо у Людмилы Семеновны стало гордым.

– Я знала, Кланя! Я знала. Из нашего детдома будет кто-то знаменитый. Но ты только мне все подробности… – С тоской: – Я ж так хотела быть артисткой, помнишь? Господи Иисусе! Я бы за Целиковскую жизнь отдала!

Из гороно Клавдия Ивановна идет довольная и умиротворенная. Увидела очередь за хорошими яблоками. Встала. Притормозила возле яблок «Скорая». Из нее выскочил тот самый молодой врач.

– Женщины, пропустите? Не обидитесь?

– Да берите, – сказала Клавдия Ивановна. Была ее очередь. Врач посмотрел на нее внимательно.

– Я у вас по вызову был? – спросил он.

– Были, – смутилась Клавдия Ивановна.

– Садитесь, довезу. Мне в вашу сторону. Вы же детдом? Верно?

Клавдия Ивановна закивала. Очередь смотрит, как врач перехватывает у Клавдии Ивановны авоську.

– Ничего себе! – сказал он. – Вы что? Разве можно столько носить?

– Давление подскочило, – сказала Клавдия Ивановна виновато и оправдываясь перед такими же, как она, женщинами.

– Тогда нас всех возить надо, – сказала одна. – У кого его нет? Давления?

Клавдия Ивановна смущенно едет в «Скорой», прижимая к себе яблоки и кусок ограды.

В павильоне готовится к съемке большая сцена. Вся группа фильма плюс любопытные. В сутолоке мелькает лицо Юли.

Веселый собачник носит собаку.

– Почему вы ее все время носите? – спросила Оля.

– Не жилец! – радостно ответил собачник. – Не жилец! – Еще веселее: – По бумаге ее уже и нет. Секир-башка. – Хохочет. – Я ее продлил в существовании… А спасибо не слышал… Псина она эдакая!

– То есть как ее нет? – не поняла Оля. – Она чья?

– Ничья! – радовался собачник. – Усыпленная номер восемьсот сорок семь… Во как! Имя у нее было – Лэди.

– Почему было? – Оля кидается к собаке. – Лэди! Лэди! – Собака благодарно лизнула Оле руки.

– Брось ты ее! – сказала девчонка с хлопушкой фильма «За океан и обратно». – Мало ли чем она больна? Может, у нее чумка?

Оля целует собаку в морду.

Хохочет веселый собачник.

– Не! Не чумка! Забыл, как называется…

– Все в кадр! Все в кадр! – кричит помощник режиссера. – Положите собаку.

– Чемоданы в кадр. Поверните наклейками, – это оператор. – Хорошо вижу «Орли».

Репетируется сцена.

Актер, Актриса, Оля – все стоят в напряжении.

– Тебе надо кончать музыкальную школу, – говорит Актриса. – Зачем тогда инструмент в доме? Частные уроки стоили нам прорву денег.

Оля молчит и смотрит на лежащую Лэди.

– Подумаешь, деньги! – подсказывает режиссер.

Оля вся напряглась и сжала губы.

– Сначала! – кричит режиссер. – Оля! Не забывай!

– …частные уроки стоили нам прорву денег.

– Подумаешь, деньги, – говорит Оля. – Я пойду в швейную мастерскую и отдам вам их.

– Стоп! – кричит Главный. – Что за отсебятина?

– А это хорошо, – говорит Актриса. – У меня есть повод изумиться и увидеть собственную дочь.

– Вы не видите собственную дочь! – кричит режиссер. – Вы видите часы. Они тикают ваше время. Чемоданы чего тут стоят? Оля! Давай по тексту.

– Я забыла, – шепчет Оля. – Ведь это для меня неважно… Мне все равно. Пусть едут…

– О Господи! – сказал режиссер. – Она нормальный ребенок. Ей жалко, что они уезжают. Но она умная! Умная, понимаешь? Она знает цену и значение поездки за границу. Она знает цену деньгам. Ее родители не воры, не жулики… И она хочет учиться… в музыкальной школе! У нее музыкальные пальчики. Швейная мастерская! Она и слов таких не знает!

– Она что – идиотка?

И все замолчали, потому что Оля сказала это так, что все возражения просто не имели смысла.

Главный перевел дух и решился:

– Она отпускает родителей. Понимаешь? Отпускает… Их поездка разумная, деловая… Она это знает… Они не жлобы! Понимаешь? Не за шмотками туда едут! Это удача. Везение! Ну как тебе объяснить? – Распаляясь. – Есть текст! Есть роль! Все! Кончаем плебисцит!

Жалобно посмотрев на всех, как-то сочувствующе гавкнула Лэди.

– Убрать собаку из кадра! – крикнул режиссер.

Собачник весело унес Лэди.

– Таксист! Где таксист? Слушайте! Они еще разговаривают, а вы уже звоните в дверь! На прорве денег звоните! Все! Разговоры окончены! – Оле: – Можешь не отвечать. Будешь себя так вести, вообще без слов останешься. Все начнут умничать…

Оля поворачивается и уходит со съемочной площадки.

– Ищите другую девочку, – кричит Главный Ивану Ивановичу. – Буду я еще со всякими соплюхами возиться! Там была одна ничего… Юля… Она тут крутилась недавно.

– А девочка права, – говорит Актриса. – Стоило сказать про деньги, и она ручки вверх…

– Все – нормальные люди! – говорит Актер. – Все живут в жизни, а не на облаке… А в жизни все стоит денег…

– В том-то и дело, что не все… Талант не купишь… Ум не купишь… Здоровье не купишь… Красоту, доброту, нежность… Пошел ты к черту, если тебе надо это объяснять… – Актриса в гневе и очень от этого хороша. – Мы привыкли делать стыдные дела, как доблестные. Пришла девочка и показала, что мы играем… И кто есть кто.

Главный мучительно трет лоб, а Иван Иванович усмехается.

Актеры пьют чай в комнате отдыха.

– Жалко девчонку, – сказала Актриса-мать. – Из максималистов вырастают либо сволочи, либо перебитые… – Она рукой показала, как перебитые.

– Не морочь голову, – это Актер-отец. – Вырастет, как все. Нарожает детей. Это у детдомовок как раз бывает. Стадный инстинкт.

– Из чего проблемы! Что, собственно, случилось? – Главный сердится. – Нельзя же перед ними на цыпочках… Мы совсем потеряли лицо, носимся с этими детьми, а они писают нам на голову.

– А что мы такое сделали, – Иван Иванович встал, – чтоб любить нас?

– Я всю жизнь, – обиделся Главный, – не разгибаю спины. Посмотри! – И он показал Ивану Ивановичу большую лысину. – Дети и внуки, начальство и подчиненные выщипали. Понял?

Он был обижен за себя, а Иван Иванович смотрел на него жалеючи.

Вечером у девчонок в их спальне появились гости. Пришли бывшие детдомовки, которые учились в разных ПТУ, работали на заводах и жили, считай, самостоятельно. Выглядели они просто, вульгарно, были намазаны, держались вызывающе. Хороводила одна, худая, языкатая, в вытертом почти до дыр, ношеном-переношеном костюме.

На доске большими буквами было написано: «Олька кино послала к…!» Худая прочла, посмотрела строго и вытерла доску.

– Рассказывай! – сказала она, когда они расселись по кроватям.

Ларка-великанша за спиной Оли делала ей какие-то сигналы.

– Ты чего, как немая? – спросила языкатая. – Случилось что? Тем более говорите…

– Ничего, – зло сказала Лорка. – Тебе шпалой работать…

– Я так и работаю, – парировала худая. – Это вы тут артистки, еж вашу двадцать! Ну? – это она к Оле. – Валяй подробности.

– Бросила, – буркнула Оля. – Играют каких-то полудурков.

– А тебе какая разница? – резко крикнула худая. – Артист любого должен играть, в дураков даже интересней. Посмеемся.

– Ну и играй сама, – сказала Оля и накрылась подушкой.

– Не! Она не пойдет! – сказала Лиза. – Она как отрезала.

– Я ей не пойду! – возмутилась худая. – Я ей весь свой гематоген в детстве скормила, а она от меня теперь подушкой накрывается? Да я ее придушу, как котенка.

И худая стащила с Оли подушку, и все увидели, что Оля плачет.

Начался скандал.

– Лучше б ты подавилась своим гематогеном! – кричала великанша Лорка. – Может, умней бы стала. Чего пришли?

– Мы к ним, как к людям, – закричала одна из пришедших.

– А кто вас звал? Кто? – верещала татарка Фатя, телом закрывая Олю.

– Скажите! – возмутилась худая. – Это наш дом, как и ваш. Звать! Вас тут, дур, Клавдя заслюнявила… В артистки они уже не идут. Принцессы вонючие! Ну валяй на шпалы! Валяй!

– Не твое дело! – Лицо Оли было мокрым от слез. – Ты там была? Была? Может, шпалы в сто раз лучше!

– Ага! Ага! – кричала худая. – Лучше! То-то, я гляжу, нет артистов… Все на шпалах. Удушу тебя, дуру, как котенка, удушу… Чем дураком жить, лучше смерть.

– Девочки! – кричала Муха. – Девочки! Да ну вас всех! Клавдя бежит!

Птицей влетела растрепанная Клавдия Ивановна с противнем.

– Господи! – сказала она. – Миленькие мои! Пришли… А я как чувствовала… Семечек нажарила целых пять стаканов…

Девчонки заворковали, будто ничего и не было.

Все грызут семечки. Оля лежит, повернувшись ко всем спиной. Но ведь разговор – для нее.

– Наломаешься за смену, – говорит худая. – А мастер у нас – собака. Сколько раз воды выйдешь попить, столько и гавкнет… А то еще манеру взял – обнюхивать. Паразит… Чтоб не пили, не курили.

– Учитесь, дуры, – говорит другая, стриженная под мальчика. – Ученье – свет, неученых – тьма… Когда рожу…

– Что? – кричит Клавдия Ивановна.

– Когда рожу, – повторяет стриженая, – сразу буду учить читать и писать… И лупить буду, если что…

– Сначала надо выйти замуж, – уточняет Клавдия Ивановна.

– Это я еще посмотрю, – говорит стриженая. – Это еще вопрос с очень большой буквы…

– Ну что ты такое говоришь? – возмущается Клавдия Ивановна.

– Правду она говорит, – почти вместе говорят девчонки. – Вы, Клавдия Ивановна, жизни не знаете…

Клавдия Ивановна теряется. Есть в бывших детдомовках какая-то ей недоступная правда, она это видит, но понять не может или боится этой правды.

– Девочки, – шепчет она, – во все времена люди были хорошие и плохие… И мужчины были всякие… А ребенка так нельзя, ни с того ни с сего… От этого беда…

– А чего вы замуж не вышли? – грубовато спрашивает худая. – У вас же лицо хорошее было смолоду и фигура вполне… Это вы сейчас располнели…

Оля резко села.

– А ты чего такая худая? – кричит она. – У тебя солитер? Все ему идет?

– Ты что, спятила? – растерялась худая. – Чего кидаешься? Что я такое спросила?

– Девочки, – говорит тихо Клавдия Ивановна. – Не за кого было… Я же никуда из детдома… С сорок первого… А у нас все женщины… Честно скажу… Я бы, конечно, вышла, если бы кто был… Молодая была, как вы… На химические стройки хотела… Записалась даже… А подруга моя лучшая, с трех лет вместе, тяжело заболела… Полиомиелитом… Я и осталась… При ней…

– А где она сейчас? – спросила Оля.

– Отравилась, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Тогда еще плохо лечили…

– А как она отравилась? – деловито спросила худая.

Испугалась вопроса Клавдия Ивановна. Девочкам-гостям всем сейчас по восемнадцать. Вдруг неспроста вопрос? Смотрят сурово, понуждающе.

– Как? – повторила Оля.

Пятнами пошла Клавдия Ивановна от испуга, от своей педагогической недальнозоркости. Разве ж можно про такое рассказывать? Замахала руками.

– Девочки, девочки, – забормотала она. – Не надо про это! Чего, дура, вспомнила, сама не знаю…

– Все-таки как? – повторила Оля.

– Лекарствами, – тихо сказала Клавдия Ивановна. – Не знаю какими… Ей много прописывали… Но это, девочки, не выход был, не выход… Разве ж можно так с жизнью? Она дается все-таки один раз…

– Правильно сделала, – сказала худая. – Какая жизнь у калеки?

– Трудная, плохая, но жизнь! Девочки, жизнь! – страстно говорила Клавдия Ивановна. – И я у нее была, я бы сроду ее не оставила… Она меня освободить хотела, а сделала сиротой… Она ведь была мне и мамой, и сестрой, и дочкой… А оставила одну… Большой она грех совершила, девочки, большой грех… Слово, конечно, я употребляю не то, но просто другого нету… Девочки мои! Ну, как вам сказать? Человек в человеке ведь прорастает… Никто не сам по себе… Все друг в друге… И друг другу нужны… Все! Хватит про это!

Хотела что-то сказать худая, рот даже открыла, и, конечно, для противоречия, но почему-то остановилась.

Лицо у Клавдии Ивановны выражало такую печаль и мольбу, что худая вздохнула и сказала:

– Не надо так не надо… Но ты, дура, – закричала она на Олю, – не выдрючивайся! Взяли – играй! Вдруг это твое дело? Артисткой же, не маляром!

Иван Иванович ждал Олю возле школы. Она увидела его и решила обойти. Нырнула в дырку в заборе, вынырнула, а он стоит возле дырки и смеется.

– Понимаешь, какая штука, – сказал он. – По дыркам в заборе я специалист. Так от меня не уйти.

– А как? – спросила Оля.

– Не тот вопрос. Зачем, спросил бы я… И ответил бы – незачем.

Главный прижал Олю к себе и сказал:

– Пожалуйста! Умоляю! Говори по тексту!

Оля в павильоне. Собака лежит на подстилке. Актриса, играющая бабушку, сидит в кресле. Рядом с ней вальяжный пожилой господин. Гример его пудрит. Оля с неприязнью смотрит на это.

Подошла к собаке, села на корточки, гладит ее.

– Лэди! Лэди! – Собака лизнула ей пальцы.

Собачник, стоящий в стороне, в полном восторге.

– Воспитанная псина! Я ее сразу выбрал. – Оля посмотрела на него с ненавистью, а он ей улыбался, как родной, просто весь светился. – И чистотка! Никаких у нее сил, а блюдет себя.

Репетируется сцена.

Актрисе-бабушке закапывают что-то в глаза, чтобы потоком шли слезы. Рядом с ней вальяжный господин.

– Гнусавьте! – говорит Главный. – Вы несколько дней с больной собакой и уже дошли. Вам не дышится, вам не смотрится… Жить, одним словом, не хочется… Ну, давайте… В темпе.

– Моя дорогая! – это уже по роли говорит вальяжный. – Так же нельзя! Береги себя. Нет проблемы – человек или собака.

– Нет проблемы! – очень похоже передразнивает его Оля.

– Она должна это говорить? – растерянно спрашивает вальяжный у Главного, который, обхватив голову руками, рухнул в кресло.

– Опять и снова! – говорит он. – Ну что у вас в тексте?

– Бабуля, милая! – бубнит Оля. – Олег Николаевич прав. Езжай к себе. Я останусь с ней. Ты не бойся. Буду звонить тебе утром и вечером… Ну что я, маленькая?

– Вот сколько у тебя замечательных человеческих слов… – шумит Главный. – Ты остаешься с больной собакой. Ты отпускаешь больную бабушку. Ты – хорошая. Поняла? Хорошая!

– Но я же знаю. Что она задумала… Я ведь слышала телефонный разговор с ветлечебницей. Такая подлость, а я ей «милая»? Какая же я хорошая?.. Они все подлые…

– Но ты же видишь, что собака больная? Видишь?

– Ну и что? – говорит Оля. – Если больной, так уже никому не нужен? Она ж, смотрите, все понимает. – И будто в доказательство Лэди тихонько тявкнула.

– Она права, – говорит Актриса-бабушка. – Я должна ее обмануть, чтобы усыпить собаку… А так получается, что она, хоть и маленькая, а уже дерьмо в проруби… И потом… Она права… У меня любовник. Это нигде не сказано, но так играется. В пятнадцать лет это должно казаться страшным грехом… Ей это должно быть просто противно. А если этого нет, то – мрак. Так, дите, или нет?

Оля как съежилась от слова «любовник», так и стоит.

– Она играет девочку, – стонет Главный, – которая все понимает… Девочка двадцатого века! Вот она кто! Конец двадцатого! Сексуальная революция уже была.

– Фу! – сказала Актриса. – У тебя, дружок, язык.

– Хорошо, – сказала Оля. – Я поняла.

Играется сцена.

– Бабуля, милая!

Откуда что в ней взялось? Оля шла к «бабушке», переступив через собаку. При словах «Олег Николаевич прав» она заговорщицки-дружески коснулась его, а «езжай к себе» она говорила уже чуть не на коленях перед «бабушкой».

И мы видим гаденькую, хитрую девчонку, которая уговаривает бабушку уехать, потому что так ей почему-то выгодней, удобней, а и собака, и астма – просто предлог.

Все потрясены. Точно произнесенный текст и точно найденный характер, который, оказывается, разрушает весь задуманный благостный фильм.

Иван Иванович беззвучно смеется в стороне.

– Все правильно, – сказала Актриса-бабушка. – Такой и должна быть эта девчонка. У этих, нынешних, стайеров-спринтеров дети – переступающие через все!

– Она должна быть хорошей по логике сценария, – кричит Главный. – Ведь она в конце концов совершает почти подвиг…

– Никакого подвига! – сказала Оля. – Я попробовала это сделать… Когда на тебя едет машина, ты инстинктивно отступаешь и прикрываешь своим телом того, кто позади тебя…

– Как пробовала? – растерялся Главный. – Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что никакого подвига не было… Это она так представила, что кого-то там прикрыла… Моя Оля всегда знает, чего хочет… Она подлая… Подлая… Подлая…

– Перерыв! – объявил Главный.

В монтажном зале идет просмотр материала.

– Не знаю, не знаю, – говорит Сценарист, когда зажигается свет. – Вы знаете мое кредо. Хороший человек. Во всем его многообразии. Я не ищу плохих… Я просто не люблю плохих… – Сценарист, пожилой, импозантный мужчина, расстроен и обижен. – О чем сценарий? О любящей семье. О разлуке. О печали. Девочка же… Ну, не знаю… Она же несимпатичная! – Он уже кричит фальцетом. – Она, я слышал, детдомовка. От этого все и идет… Резкость… Графика… Крайность… И уже нет хороших людей, все с хитростью, все с расчетом…

– Срывание всех и всяческих масок, – тихо сказал Иван Иванович.

– Что вы сказали? – переспросил Сценарист.

– Это не я, – ответил Иван Иванович. – Это Ленин.

– Ну, знаете, – возмутился Сценарист. – Давайте без политики.

Он тут же засобирался уходить. Его сбил с толку Иван Иванович, а сбитый с толку, он не умел находить слова.

– Не знаю, не знаю, – бормотал он. – Получается злой фильм, а сценарий был добрый, светлый… Так же нельзя… Я буду настаивать, я пойду выше.

Главный же был доволен. Он даже подмигнул Ивану Ивановичу.

– Поломала она нам сценарий, а? Волюнтаристка!

– Вы его недооцениваете… Он такую бучу поднимет!

– А пусть! А пусть! А пусть! – Главный даже руки потирал. – Тогда мы устроим конкурс! Ха-ха-ха!

Людмила Семеновна и Клавдия Ивановна прохаживаются возле витой ограды. Старая усадьба вся светится под заходящим солнцем. И не дашь ей двухсот лет, так она светла и хороша.

– Лучше б я не приезжала, – сказала Людмила Семеновна. – Я уже забыла, как от этого щемит сердце… А с другой стороны? Что хорошего в том, что щемит? От «щемит» – гипертония…

Посмотрела на «наступающий» многоэтажный дом.

– А интересно… Лет через сто… Будет у тех, кто после нас, щемить от него сердце? Что ты все молчишь? Молчишь?

Клавдия Ивановна, правда, какая-то закрытая, поглощенная.

– Надо уезжать, – ласково говорит Людмила Семеновна. – В памятниках у них это не числится. И ограда твоя, говорят, примитивная… Шандарахнут, и все. – Весело: – И станем мы с тобой, Кланя, здоровенькие. А то извелась по инстанциям и меня извела. – Произносит как диктор: – На месте сиротского дома вырос красавец-дом…

– Для дипломатов в юбочках, – засмеялась Клавдия Ивановна.

– Почему в юбочках? – не поняла Людмила Семеновна.

– А я знаю? Девчонки их так зовут… Может, из-за шотландцев? Те в юбках…

– Кланя! Ты мне не нравишься… У тебя сейчас определенно как в трансформаторе…

– Это было бы еще ничего, – тихо ответила Клавдия Ивановна. – Я, Люська, последнее время аппарат зашкаливаю…

– К чертовой матери! К чертовой матери! Немедленно всех отсюда вон! – закричала Людмила Семеновна.

Опустив ноги и руки в горячую воду, сидит в своей каморке Клавдия Ивановна. На затылке – горчичник. Окно задернуто, на дверь наброшен крючок. Видно, что болеет она тайно. На столе бюллетень, куча рецептов.

Трубку зазвонившего телефона сняла красной мокрой рукой.

Голос по телефону.

– Клавдя! Это я! Люська! Чудный вариант. Мы распределяем девочек в загородные дома, а вашу артистку возьмет интернат, который прямо рядом со студией. Поняла? Ты будешь с ней. У них там кто-то уходит в декрет из технического персонала.

Ночью девчонки пришли во дворик возле флигеля. Шесть тонких березок росли наособицу. Это их деревья, которые они когда-то посадили. Вбили приготовленные колья. Окружили деревья принесенной со стройки проволокой. Навесили на нее куски красной тряпки. Прикрепили фанерку со словами: «Осторожно! Березы! Не трогать! Штраф 1000 рублей!»

Работали молча, сосредоточенно.

Вернулись сосредоточенные, молчаливые. Сели на постели. На доске написано: «Собаки лучше людей».

Дрожат стекла от рядом работающего экскаватора. Мелко, мелко сыплется с потолка известка.

– Ой, девочки! – сказала Муха. – Я все думала, думала. Вы не правы. Хороших больше… Я посчитала… У меня в моей жизни было одиннадцать плохих и сорок семь хороших…

– Где ты столько их набрала? – засмеялась Лорка. – Хороших?

– Я по-честному, – говорит Муха с легким заиканием. – Я всех считала… И кто со мной делился, и кто давал списывать, и кто хорошие слова сказал. Сорок семь! А я, наверное, многих забыла… Так что жить, девочки, стоит!

Лорка подошла и положила ей руку на голову. Гладит.

– Клавдию нашу считаю за сто человек, – сказала Лиза. – Других – не знаю. Вот устроюсь на работу и заберу ее. Пусть живет со мной… Хватит ей сиротствовать…

– Чего это с тобой? – закричала Фатя. – Я ей давно сказала, что она со мной будет жить… Я медсестрой буду… Я ее поколю, если что…

И тут они рассорились, потому что выяснилось, что каждая хочет взять с собой Клавдию Ивановну.

Было решено тянуть жребий. Разрезали тетрадный листок на шесть частей. На одном нарисовали «ручки-ножки-огуречик».

Скатали бумажки в комочки и сложили в картонную коробку из-под туфель. А тут сама она возьми и приди.

Пришла и смотрит строго, выпытывающе на каждую и на всех. Затаились девчонки, молчат.

– Не спится, – сказала Клавдия Ивановна, садясь на ближайшую кровать. – Грохочет как! В третью смену работают.

– Снесут в два счета, – сказала Лорка.

– Ой, боюсь! – сказала Клавдия Ивановна. – Сломалось бы у них что… – Она рукой коснулась коробки и машинально вытащила комочек бумаги. Развернула. На листочке был нарисован «ножки-ручки-огуречик». Замерли девчонки, а она, занятая своими мыслями, выбросила бумажку и сказала тихо:

– Знаете, девочки, давайте съездим посмотрим тот детдом… Вон стекла как дрожат… И вывалиться могут… Топят батареи?

Подошла пощупала.

– Ничего, пока терпимо! Ложитесь спать!

Девчонки покорно легли, Клавдия Ивановна погасила свет и ушла, прихватив «мусор» – картонную коробку для жеребьевки.

В голос заплакала Муха.

– Она ни с кем из нас жить не захочет, – причитала она. – Сама себя вытащила. Нужны мы ей… Как же… – Она снова слегка заикалась.

Девчонки молча смотрели в потолок, по которому прыгали блики от огней работающего экскаватора.

В павильоне шумно. В центре внимания Оля и другая девочка, Юля. Юля смотрит на Олю победоносно.

Оля смерила ее насмешливым взглядом.

– Играем сцену прихода бабушки из ветлечебницы, – объясняет режиссер. – Бабушка в истерике. Она просит прощения у Оли. Ей на самом деле плохо, она вся на каплях и таблетках. Девочка еще плачет о собаке, но уже боится за бабушку. Понимаете? Еще и уже! Внутренний разрыв. Это трудная, психологически трагическая сцена, после которой прямо сразу пойдет эпизод на улице… Юленька, давай сначала ты.

Закапывают Актрисе-бабушке глаза. Некрасиво усаживают ее в кресло, чтобы подчеркнуть болезнь, и старость, и стыд за содеянное. Актер, играющий Олега Николаевича, почему-то в ярком женском фартуке. Машет на бабушку веером и с ненавистью смотрит на девочку.

– Прости меня, девочка, – говорит Актриса-бабушка. – Сама не знала, что это так мучительно… Сейчас сама пойду за ней следом. Вдруг там встретимся?

– Ты не умрешь, ты не умрешь. Бабушка! – в слезах кричит Юля. – Ну, пожалуйста, успокойся! Прошу тебя, прошу!

– Ты простила меня, простила?

– Да, да, – рыдает Юля.

– Да, да, – передразнивает Олег Николаевич, – сначала доводим, потом каемся…

– Замечательно! – говорит Сценарист. Он смотрит все на мониторе. – Поверьте старому человеку. Именно так! Именно так! Речь идет ведь о человеческой жизни. Она дороже всего… – Он даже забегал для убедительности.

– Вы мешаете, вы в кадре, – сказал ему помощник оператора.

– Простите, – засуетился Сценарист. – Но это – то! Именно то!

Главный же молчал. Иван Иванович насмешливо поглядывал на него.

– Теперь ты, – говорит Главный Оле.

– Не знаю, не знаю, – шепчет Сценарист. – Не оправданно. Характер найден.

И вот уже Оля в кадре. Идет эта же сцена. Те же слова. Но как разительно они отличаются. Слова «не умрешь» звучат не жалко, а уверенно, даже с иронией. А «пожалуйста, успокойся» – просто как «кончай ломать комедию». «Да, да!» – вовсе не рыдание, а подыгрывание концерту в кресле. И уже не сентиментальная истерика, а история червивых отношений снизу, так сказать, доверху. А на слове «каемся» Оля так подняла брови и так посмотрела на «друга», что Актер стал себя обмахивать веером и что-то мычать.

– Вот именно так и будем играть! – твердо сказал Главный. – Вы, голубчик мой, – это он Сценаристу, – написали прекрасный сценарий. Но вы, голубчик, писать можете, а читать нет… Поэтому доверьтесь грамотным! Девуленька! – это он Оле. – Именно так, а то и жестче! Такая оказалась семейка, что бабушка, что внучка…

– Ну, слава Богу, – скзала Актриса-бабушка. – Дошло наконец! Я же эту старуху во как чувствую! Кого хочешь – усыпит… У нее и астмы нет! Ей-Богу! Здоровая как лошадь! И сроду никому добра не сделала… – Сценаристу: – Разве добро в словах? В деле, поступке. Никакими словами свинство и безобразие прикрыть нельзя! А ты, – это она Актеру, играющему Олега Николаевича, – это хорошо придумал с веером, все время обмахивался, как отмахивался. Братцы мои! Это же образ жизни, образ мышления – ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу… Всем бы нам по вееру, черт нас возьми! Опахалами проклятущими от всех закрыться! Вот что надо играть!

– Я буду спорить! – фальцетом кричал Сценарист, но на него уже никто не обращал внимания.

Когда после этой съемки Оля вышла из студии, первое, что она увидела, был красный парень, который, опершись на собственную машину, небрежно читал газету. Он знал, что хорошо смотрится в паре с «жигуленком», что они даже одеты будто в масть, и поэтому наслаждался пребыванием своим на земле возле машины.

А тут как раз из студии выскочила заплаканная Юля, бросилась ему на грудь. Сначала она просто рыдала, но, увидев Олю, показала на нее пальцем.

Лицо парня выразило презрительное недоумение, он даже не то присвистнул, не то сплюнул.

Гордо подняв голову, Оля прошла мимо.

Они догнали ее на машине, когда она переходила улицу. Глядя Оле в лицо, парень проехал прямо по луже, он даже назад осадил, чтобы было в два раза больше брызг.

Она осталась стоять мокрая, грязная, униженная.

– Ай, что же будет? – с встревоженным ужасом спрашивает Муха.

– Ничего, – говорит Оля, очищая от грязи пальто. – Эта сцена у них не пройдет.

– А вдруг он красивый? – мечтательно шепчет Катя. – С красивым можно.

– Еще чего! – Оля дернула плечами. Она в одной рубашонке. Вся ее одежда развешана и сохнет.

Лора держит на коленях сценарий, выразительно читает.

«Он подошел, обнял и поцеловал ее. Она задрожала в его руках.

– Что ты дрожишь, как маленькая? – спросил ее Игорь.

– Мне холодно, – ответила она.

– Двадцать пять градусов. Теплынь, – целует ее Игорь».

– Обалдеть! – говорит Катя. – Целует ее… А как – не написано? В губы? В щеку?

– Сейчас целуются с детского сада, – говорит Лиза. – Сейчас и большим не удивишь…

– Все ты про всех знаешь! – кричит Лора. – Про себя скажи, ты разве целовалась?

– С кем? – Лиза развела руками. – С кем? Но это же не потому, что я не хочу! В компании нас не зовут. Своих парней нет… Хоть на панель…

Лора бросила в Лизу подушкой.

– А я целовалась, – тихо призналась Муха. – В прошлом году… С вожатым… Такой очкарик, его никто не слушал… А я слушала… Он меня из благодарности поцеловал…

– Из благодарности не считается, – сказала Фатя. – Считается только из любви… – Оле: – Он ее из любви целует? Как ты думаешь?

– Я про это и думать не хочу, – ответила Оля.

Вечером они сидят у Клавдии Ивановны и едят батон с колбасой. Клавдия Ивановна лежит. Видно, что ей плохо, но она бодрится перед девчонками.

– Почитали бы вслух, девочки, – говорит Клавдия Ивановна, а сама незаметно насыпает в ладонь таблетки.

Лорка-великанша подошла к этажерке. Сказки. «Тимур и его команда», «Алые паруса», «Молодая гвардия», «Детство. Отрочество. Юность», «Домби и сын». Все старенькое, зачитанное. Вынула Лорка Диккенса.

– Я первая, – кричит Лиза.

– Я вторая, – это Катя.

Погасили верхний свет, подвинулись к лампе.

– Теперь у всех телевизор, – вдруг сказала Фатя.

– Насмотришься еще, – сказала Клавдия Ивановна. – Как там? «Домби сидел в углу затененной комнаты, а сын лежал…»

– У нас в классе, – сказала Катя, – девчонка одна «Анжелику» вслух читала. Полный отпад! Ваш Домби – придурок-малолеток! Там любовь во всех подробностях.

– Молчи, дурочка, – сказала Клавдия Ивановна. – «Анжелики» и книги такой нет и быть не может. Верит всякой чепухе. Разве любовь – подробности? Любовь – это…

И замолчала, не зная, что сказать…

– «Домби сидел в углу», – громко начала Лорка.

– Любовь, – сказала Оля, – это когда ничего не страшно, потому что вместе.

– И чтоб целоваться приятно, – засмеялась Катя. – Как же без этого?

Оля вышла из студии, и первым, кого она увидела, был тот самый парень с машиной. Он смотрел на нее в упор, так, что ей никак нельзя было его минуть. А когда она проходила мимо, он загородил ей проход ногой.

– Очень хочется тебя переехать насовсем, – сказал он ей. – Может, так и поступить?

Оля видела перед собой привлекательное и наглое лицо. Она стояла, замерев, перед загородившим ей путь ногой и, получалось, слушала:

– Как ты предпочитаешь, чтобы я тебя переехал? Вдоль? Поперек? – Оля молчала. – Откуда ты, обмылок искусства? Я забыл… Ты лимитчица? Или детдомовка?

– И рецидивистка… И воровка… И хулиганка… – ответила Оля. – И ты меня, пижон, бойся!

Потом ничего не оставалось другого, как зайти за забор и заплакать.

– Что с тобой? – спросил проходящий мимо мальчишка. Он был полон великодушия.

– Иди, иди, – ответила Оля. – Нечего подать…

Мальчишка остановился.

– Не понял… Нечего – чего?

– Ничего нечего, – сказала Оля. – Иди своей дорогой.

– Было бы предложено, – засмеялся мальчишка.

Он ушел, посвистывая. Оля в автомате купила стакан воды за копейку и умылась этой водой.

Снималась сцена телефонного звонка из-за границы. Главный подавал реплики. А бабушка и Оля, выхватывая друг у друга трубку, отвечали.

– Как вы там? – не своим голосом спрашивал Главный.

– У нас все хорошо! – кричала бабушка. – Привезите ихний аспирин.

– Мы купили собачьи консервы, – не своим голосом говорит Главный.

– Съедим! – прокричала Оля.

– Стоп! – своим голосом закричал Главный. – Ты опять? Ты говоришь: Булька что-то хворает.

– Съедим – лучше! – упрямится Оля. – Съедим все человеческое, съедим собачье и закусим аспирином.

Двое мужчин, которые со стороны наблюдали съемку, переглянулись. Один другому показал большой палец. Все это увидел Иван Иванович.

– И не думайте, – сказал он тихо, подходя. – Ей еще школу кончать…

– Подумаешь, – ответил один. – Не кончит в этом, кончит в том…

– Не тот случай, – сказал Иван Иванович.

– Она нам годится, – сказал мужчина. – Иди-ка ты, Ивашка, на пенсию… А у этой девчонки великое будущее.

Это оказался тот самый мальчишка, с которым она недавно разговаривала. Их привезли на место будущей съемки – к церквушке в лесах.

– Ничего себе! – сказал он, увидев Олю. – Оказывается, это ты… Я тогда долго о тебе думал… Чем-то ты задеваешь… Порепетируем? – Он подошел к Оле и хотел ее обнять.

– Ударю, – сказала Оля.

Он засмеялся.

– Ладно, – согласился, – ладно… Я подожду…

– Жди до посинения, – сказала она.

Она ушла от него. Ходит в переплетении строительных лесов, издали крошечная одинокая фигурка. Подрагивают доски, посвистывает ветер, а Оля карабкается все выше, выше, к самой церковной маковке.

Иван Иванович пришел домой в свою однокомнатную холостяцкую квартиру. В ней только самое необходимое. На чем спать. На чем есть. На чем сидеть. Ниша комнаты захламлена. Стал ее расчищать. Все выкинул и повесил на ней картину Пикассо, ту самую, что мы видели. А на стену напротив большой портрет Оли. Оля теперь, не отрываясь, смотрела на девочку на шаре.

Сам Иван Иванович сел на стул так, чтобы видеть обеих девочек.

Сидел молча, опущенные между колен руки чуть дрожали.

Съемка в переплетении лесов.

– Понимаешь, – объясняет Главный Оле. – У нее все сошлось. История с собакой, кошмар на улице… У нее сейчас возникла возможность стать какой-то другой… Она еще не знает какой… И вот этот поцелуй… Первый…

– Наивно, – важно сказал мальчишка. – Если первый, то с ней не все в порядке…

Он явно хорохорится перед всеми. Изображает знатока. Игра эта больше всего рассчитана на Олю, но она на него не обращает внимания.

– Для правды чувств, – говорит ей мальчишка, – нам нужен контакт.

– Пошел ты! – сказала ему Оля.

– Мотор! – кричит Главный.

Мальчик подходит к Оле. Он неуверен не по роли, неуверен на самом деле. И руки у него дрожат.

– Что ты дрожишь, как маленькая? – говорит он несмело, протягивая несмелые руки.

Оля смотрит на него, и глаза ее насмешливы и презрительны. По роли? На самом деле?

Вдруг он ее целует, как клюет в щеку. Сделал и тут же отпрянул, а она засмеялась.

– Холодно, – сказала она.

– Двадцать пять градусов! – глупо сказал мальчик. – Теплынь! – И пошел к ней снова, а Оля ждала и смеялась ему в лицо.

– Стоп! – весело сказал Главный. – Очень хорошо!

– Но я у нее, получается, сто двадцать пятый, – рассердился мальчик.

– Ты такой и есть, – сказала Оля.

– Неужели?

Он смотрел на нее и ничего не понимал.

– Как она ведет свою линию! – восхищенно сказал Главный Ивану Ивановичу. Подошел и обнял его. – Спасибо, старик! Эта девочка дорогого стоит. Даже сравнить не с кем… Какой характер! Какой ум! Какая страсть! А с виду – пичуга пичугой…

Оля идет по улице с мальчиком.

– Ты странная, – сказал он ей. – Ты как ребенок… Тебе надо все поломать и посмотреть, что внутри… Но когда ты потом собираешь, у тебя остаются лишние детали. Верно?

Оля молчит.

Он разглядывает ее внимательно, даже зашел спереди, идет задом наперед, изучает…

– С виду же, – говорит он добродушно, – морковка морковкой… И не скажешь, что, – издеваясь, – ум! Характер! Страсть!

Вдруг неожиданно останавливается, и Оля, шагнув, попадает ему прямо в объятия.

– Вот! – сказал он решительно. – Попалась, птичка, стой! – Оля стоит, покорно замерев.

Мальчишка целует ее нежно-нежно в щеки, в лоб, в кончик носа.

– Морковка, – шепчет, – морковка! – Целует в губы, долго, по-мужски.

Она развернулась и ударила мальчишку со всей силы.

Иван Иванович привел Олю к себе. Комната преображена. В ней уже существует «комната для Оли».

Оля видит свой портрет и картину Пикассо, покрытый пледом диванчик, и полку с книгами, и плюшевую собаку на полу, чем-то похожую на Лэди.

– Ты знай, – тихо говорил Иван Иванович. – Это все у тебя есть. Это место на земле твое. В любой момент… Ты знай…

– Пропишете? – спросила Оля.

– Конечно, – обрадовался Иван Иванович, приготовившийся долго уговаривать.

– А как потом делить будем?

– Что делить? – не понял Иван Иванович.

– Наивный, – сказала Оля. – Я детей и наивных не обижаю. Откуда вы меня знаете, чтобы мне все это предлагать? Вдруг я у вас все отсужу?

– А! – засмеялся Иван Иванович. – Дошло! Ты мне принесешь из школы характеристику. Я сниму тебя анфас и в профиль. Возьму отпечатки… Дурочка ты маленькая… Отсудит она…

– Ладно, – сказала Оля. – Только я собираюсь отсюда тю-тю… Куда-нибудь, где людей поменьше, а деревьев побольше… Вы меня все своим вниманием достали… Не надо мне вашей всеобщей помощи… Я вам не слаборазвитая страна…

И она ушла, хлопнув дверью.

Иван Иванович подошел к крану, открыл его и смотрит, как хлещет вода. Закрыл. Зажег газ. Посмотрел, как горит. Погасил. Открыл окно в кухне, влетел ветер, и все захлопало. Именно в этот момент вернулась Оля. Он не слышал. Стоял и смотрел в окно. На балконе напротив какой-то старик мучительно прыгал через скакалку, не спуская глаз с будильника, который стоял на парапете балкона.

– Извините меня, – услышал Иван Иванович. – Извините, но я просто не могу.

– Ну да, – сказал он.

– Но я могу приходить… Выводить гулять Бобика. – Она кивнула на кукольную собачку.

Оба печально засмеялись.

– Ну режь меня, дурака, – сказал Иван Иванович, – но что-то тут не так… Судьба, будущее у каждого свое. Его не делят на всех.

– Если не может быть хорошо всем, – твердо сказала Оля, – пусть будет всем одинаково.

– Нет! – закричал Иван Иванович. – Что за уравниловка?

– Но я-то думаю так, – твердо ответила Оля. – Не сердитесь. У вас, правда, хорошо. Я бы жила… Но не могу…

Клавдия Ивановна сидела на краешке длинной лавки сквера. Она озябла, потому что был ветер, а пальто на ней старенькое, коротковатое. Шли мимо люди, все в красивых вещах, а она мерзла на стылом краешке. Без зависти, без злости, без раздражения. Просто мерзла, и все. Заметила, как бежит по аллее Иван Иванович, и сомкнула колени, свела плотно ноги, поджала губы.

– Извините, Христа ради, – сказал Иван Иванович. – Может, пойдем посидим в кафе?

– Вы что? – потрясенно спросила она. – Я сроду там не была. Давайте говорите тут. Я больше уже не замерзну. У меня предел есть. Мне даже жарко потом станет.

– Мне-то нет, – засмеялся Иван Иванович. – Я без предела буду мерзнуть. Ну ладно… Значит, так… Вы, если я скажу что не так… Говорите мне прямо, резко…

Она испуганно на него посмотрела.

– Кончаются съемки… Кончается восьмой класс… Дальше ПТУ… Я знаю. Без выбора… Не обсуждаю это…

– Зря, – тихо сказала она. – Это как раз бы и пообсуждать.

– Я к тому, что я могу ее взять… У меня отдельная квартира. Пусть учится дальше… Умная… Смелая… А я старый… Даст Бог, не заживусь…

– Хорошо бы… – задумчиво сказала Клавдия Ивановна и испугалась. – Извините, я не про то! Живите! Я про Олю! Только не пойдет она к вам…

– Почему? – расстроился Иван Иванович.

– Ее кто-то угостил конфетой. Она целый день ее в квартире таскала, чтобы потом на семь частей разделить. На семь делить трудно. Вообще на нечетное делить трудно. Не замечали?

– Почему на семь?

– Все так спрашивают. А мне даже неудобно становится. Седьмая – я. Из-за меня не делится… Они никому не нужны. Никому. Они брошенные. Вы знаете что-нибудь страшнее брошенного ребенка? Их могут пожалеть… Могут помочь… Могут посочувствовать… Но их никто не любит просто так… Ни за что… Просто за то, что они есть… Как любит мать… А человеку, чтобы он был счастлив, именно такая любовь нужна… Любовь ни за что…

– У них есть вы, – тихо сказал Иван Иванович.

– Я? – удивилась Клавдия Ивановна. – Ну что вы! При чем тут я? Я вам скажу главное… несчастливый человек не должен быть воспитателем… Чему он может научить? Он же не знает, как это… Когда счастье…

Иван Иванович очень растерянно посмотрел на Клавдию Ивановну, можно даже сказать испуганно.

– Что ж нас с вами, – сказал он, – в резервацию?

– При чем тут вы? – удивилась Клавдия Ивановна. – Вы же к детям не имеете отношения… У вас такая замечательная профессия…

– Я ухожу на пенсию, – сказал Иван Иванович.

– Я тоже скоро уйду, – сказала Клавдия Ивановна. – Вот жизнь прошла. А зачем она была? Зачем она была? Зачем была жизнь? Вы сами поговорите с Олей… Я была бы рада… Честно… Чего ж не жить в отдельной квартире и учиться?

– Значит, так, – сказала Лора, закрыв дверь ножкой стула. – Мы все по разнарядке идем в ПТУ, и это правильно. И будем радоваться во все легкие ради Клавдии, она из-за нас умом тронулась.

– Не хочу в ПТУ, – заскулила Катя. Подошла к доске и написала большими буквами «НЕ ХОЧУ».

– А кто ты такая? – сказала Лорка. – Мы люди обычные, каких тыщи… Если о ком думать, так об Ольке. Она – талант.

– Это по-честному, – заикаясь, сказала Муха. – Это будет по-честному.

– Чем она нас лучше? – кричала Катя.

– Нет, – сказала Фатя. – Ничего нет лучше артистов. Все люди, люди, люди, люди… А они – все! Надо Ольке помочь. За ней машина ездит… Я вот проживу, а за мной сроду не приедет…

– Лорка права. Надо быстро выучиться и идти вкалывать, чтобы были деньги, – сказала Лиза. – Будут деньги – все будет. И если у Ольки такое в жизни везенье, так почему мы ей еще должны?

– Талант же у Ольки… – с тоской произнесла Лора. – Это как красота… Не каждому дается…

Скатаны матрацы. Связаны бечевкой стопки книг. Два стареньких чемодана собрали весь нехитрый скарб девочек. Они сидят на голых кроватях, молчат. Оли среди них нет. Ее узелок связан и лежит отдельно.

Вот так она всегда. Появляется без предупреждения. Видно, что больна. Видно, что измучена. Но старательно хочет не показать это девочкам.

– Красота неописуемая! – говорит Клавдия Ивановна с порога. – Под окнами лес… Воздух – бальзам… Дышишь, дышишь – не надышишься. Школа – через триста метров. Девочки, такая школа! Сроду не видела… Пока не получается с общей комнатой… Ну вы же знаете как… Все уже сдружились… Ну, ничего! Хорошие такие девочки… Приветливые…

Тут же мы это должны увидеть. Приветливых девочек. Подбоченясь, насупившись, встретят они на пороге этих неизвестно откуда свалившихся чужачек.

Реплики:

– Погорельцы, что ли?

– Длинную (о Лорке) хорошо бы укоротить…

– Говорят, среди них артистка…

– Не чуди! Они все страхомордины…

– И кляча с ними (это о Клавдии Ивановне).

Рванулась вперед Лиза, боднула головой ту, что сказала о Клавдии Ивановне. Через секунду они уже дрались, а Клавдия Ивановна, плача, растаскивала их. Через несколько минут они все, нахохлившись, уже сидели в старом автобусе.

Объяснялась на пороге с начальством Клавдия Ивановна. Что говорила, девочки не слышали. Сидели молча.

Медленно ехали назад. Дребезжал автобус. Потому что он был старый и медленный, они успели заметить Олю, которая брела с вещами им навстречу. Застучали в окна, заорали не своим голосом. Затормозил автобус, свернув на обочину. Кинулись девчонки к Оле. Та стояла заплаканная и несчастная.

– Куда это ты, интересно, шла? – спросила Клавдия Ивановна.

– Вы как выездные… Вам человека бросить, что плюнуть… Эх вы!

– Мы на экскурсию ездили, – сказала Клавдия Ивановна, – сейчас вернемся, чай будем пить.

Она подошла и как-то исхитрилась обнять их всех.

Вышла из ее рук Оля.

– Зачем врать? – сказала она, сдерживая слезы. – Теперь такая жизнь, всем на всех наплевать. Такой теперь климат. Это только эта дура, – кивает на Муху, – добро считает. Ты микроскоп возьми, чтоб его найти. – Дразнит: – И кто копеечку дал, и кто конфетку… Юродивая!

– Да ты… Да как же… Как… Ты можешь… – Муха стала заикаться. С ужасом смотрят на нее девчонки. Клавдия Ивановна, горестно посмотрев на Олю, подошла к Мухе и положила на ее голову руку.

– Успокойся… Успокойся… Говори медленно…

У Мухи глаза полны ужаса. Боится слово произнести, только рот открывает.

Кинулась к ней Оля.

– Муха! Муха! Прости меня!

– Б-о-о-г про-стит, – ответила Муха.

– Поем! – сказала Клавдия Ивановна. – Все поем!

И они запели – для Мухи и с Мухой. Это способ лечения заикания.

Миллион, миллион алых роз Из окна, из окна видишь ты…

Ехали по шоссе машины. Мало кто смотрел в сторону странной пестрой стайки, которая нелепо пела на обочине под руководством нелепой женщины.

Распевалась с ними Муха. С какой же надеждой она пела!

Оля поет старательнее всех, и мы слышим не только слова песни, небо над ними, сверх, слышим ее «молитву».

«Товарищ Ульянов! Дорогая Алла Пугачева! Бога нет… Помогите вы… Пусть она не заикается… Сделайте что-нибудь плохое мне. Пусть я умру… Или пусть меня не снимают в кино… Пусть у меня выпадут волосы… Только чтоб Муха говорила, как человек».

Перегороженная улица, где должна сниматься сцена дорожного происшествия, так называемого подвига Оли.

Стоят на изготовку прицеп с капустой, фургон с мебелью, троллейбус с опущенными проводами, «рафик» милицейский и «рафик» санитарный.

Артисты массовки стоят в очереди за километровыми огурцами, которые продают на углу.

– Господи! Хоть бы успеть! – говорит старушка. Это ее должна «спасти» Оля. Старушка беспокоится об огурцах.

– Где она? Где? – кричит Главный.

– Я тут! Тут! – кричит старушка.

– Да не вам! – машет рукой ассистент режиссера.

Подошел Иван Иванович. Он озабочен.

– Не может быть, чтоб там никого не было, – говорит он.

– Ну, я ж тебе русским языком! – возмущается шофер. – Я оттуда. Тихо у них. Никого.

Мертвая Клавдия Ивановна лежит на кровати. У нее спокойное, красивое лицо. Вокруг нее девчонки. Они не плачут. Они в ужасе. Как-то особенно громко тикает будильник.

Иван Иванович вошел и не сразу понял, что произошло. Увидел Олю.

– А ее сотня людей ждет! – сказал и тут только увидел Клавдию Ивановну. – Немедленно «Скорую»! – закричал он и взял ее за руку. И сразу бережно положил.

Запершись на крючок, девочки сидят в комнате Клавдии Ивановны после похорон.

Девочки не плачут. Силу их горя можно понять по их враз каким-то взрослым, постаревшим лицам. Даже Мухе никто сейчас уже не даст двенадцать лет. Грохочет экскаватор, дрожат стекла.

– Знать бы, какие таблетки, – тихо говорит Фатя, – выпить, и с концами.

Посмотрели на нее девочки так, что сама Фатя аж испугалась.

– А помните, – тихо сказала Оля, – она вытащила жребийную бумажку… И кто-то тогда сказал, что ни с кем она жить не будет…

– Я! – заплакала Муха. – Я. Накаркала…

Вот тут они и расплакались. Плакали громко, текли слезы, текли сопли, плакали, как плачут дети, и не слышали, как в дверь тихо, но настойчиво стучали.

Услышала Оля, посмотрела в окошко. Стоял на крылечке Иван Иванович.

Они впустили его.

Он достал из огромной сумки кастрюлю с рисом и бидон с компотом. Молча выложил рис на блюда, разлили по стаканам компот. Замерев, девчонки следили за его неторопливыми уверенными движениями.

– Помянем, – сказал он. – Это кутья. Поминальная еда.

Тихо ели. Тихо пили компот.

– У меня в сорок шестом умерла невеста, – тихо заговорил Иван Иванович. – В Ленинграде. В сущности, от блокады… От ее последствий… Представьте себе… Победа! Остался жив! Невеста ждала! И сразу смерть… Казалось бы, сколько всего видел на войне, а тут рухнул… Никого у меня, кроме нее, не было… Родителей в Минске… Брата еще в Финскую…

– Финская – это что? Баня? – спросила Лиза.

– Война до войны…

– Проходили по истории, – сказала Оля.

– Я не проходила, – ответила Лиза.

– Она шла другой дорогой, – сострила Лорка.

Что-то стронулось. Сдвинулось. Не то, чтобы горя не было, просто проступила жизнь. И рис съели. И компот выпили.

– А у нас с тобой еще работа, матушка, – сказал Иван Иванович Оле.

Они пришли на тот самый перекресток. Все так и было, как мы уже видели, только на углу продавали не длинные огурцы, а леденцы в банках. Старушка по-прежнему стояла в очереди.

– Девочка моя! – проникновенно сказал Главный. – Такова жизнь… Но надо идти дальше.

– Куда? – спросила Оля.

Подбежала старушка с полной авоськой банок.

– Сегодня наконец будет съемка? – спросила она капризным голосом.

Упал с прицепа вилок капусты и шмякнулся о грязь.

Иван Иванович обнял Олю и тихо сказал:

– Конечно, все глупо… Рядом со смертью… Все глупо… Но почему-то надо жить…

– Она ничего… ничего… никогда… никогда… уже не увидит… – Оля говорит это тихо, потому что вокруг…

– Сначала пойдет автобус, потом машины. Автобус тормозит у «зебры», «Жигули» проскакивают. Фургон делает разворот. У троллейбуса обрывается провод. Люди по сигналу флажка. Оля! Где Оля?

Ассистент кричит в рупор.

Оля невидяще смотрит на все.

Ее везут домой после съемки.

Оля опустошена, обессилена. Равнодушно, безразлично смотрит в окно, на поток людей, поток машин.

Что-то вызвало на ее лице интерес. Не успела понять – проехали. Выглянула в заднее стекло – ничего.

Снова что-то забеспокоило. Потому что остановились у светофора, рассмотрела: на обочине стоял обрызганный грязью старый человек. Наморщив лоб, стала внимательно смотреть вперед.

Еще один обрызганный. Через квартал еще…

Те самые «Жигули» медленно, как ни в чем не бывало, сворачивали в арку.

– Я тут сойду, – сказала Оля шоферу.

Она вошла в арку сосредоточенно и целенаправленно. По дороге подобрала камень.

Знакомая машина стояла у подъезда, и одно ее колесо игриво вздыбилось на тротуаре, загородив проход.

С наслаждением ударила по стеклу камнем.

Страстно, самозабвенно она крушила эту машину, не обращая внимания, что по ее рукам уже бежит кровь.

– Зачем? – спрашивает Олю тихая, какая-то домашняя женщина-лейтенант. – Ты знаешь, что такое вандализм?

– Знаю, – спокойно ответила Оля.

– Молодец, – сказала женщина. – Уже легче. Ну а про то, что родителям придется за все платить, это знаешь?

– Вот про это нет! – ответила Оля. – Не подумала… Просто из головы вон…

– Мне их жаль! – сказала милиционер.

– Мне тоже, – ответила Оля.

– Номер телефона, – женщина взяла ручку.

Оля говорит номер, и мы видим, как звонит телефон в привратницкой Клавдии Ивановны, где сейчас уже прорабская, как бежит к телефону человек в резиновых сапогах.

– Алло! – кричит человек. – Прораб слушает.

– Мне Климова или Климову, – говорит милиционер.

– Нет таких, – отвечает прораб. – Это стройка.

Женщина внимательно смотрит на Олю.

– Сволочь! Сволочь! – это кричал, вбегая, тот самый парень, владелец машины. – Кто мне это оплатит, кто? Вонючий детдом? Имейте в виду! У нее деньги будут! Она в кино снялась… Ей причитается сумма прописью. Пусть оплатит до копеечки.

– Какое кино? – спросила милиционер, снова беря трубку.

Оля с каким-то непередаваемым удовлетворением смотрела, как он дергался, этот красивый парень. Как он потел, и краснел, и даже за сердце хватался, и воду из графина пил.

– Артистка! – шипел. – За сотый километр таких артисток… Распустили… Лимита проклятая… Быдло…

– Я вас попрошу! – жестко сказала женщина.

– А я знаю! Знаю! – кричал парень. – Вы ж за них! Вы сразу за них! А я вам говорю – пусть оплатит. Получит гонорар и отстегнет за хулиганство. Бандитка!

– Господи! Да выплачу я ему, – засмеялась Оля. – За удовольствие надо платить. – И снова засмеялась освобожденно.

Звонила по телефону милиционер, что-то говорила, а они смотрели друг на друга – Оля и парень.

Дорого стоил этот перегляд, не выдержал его парень, хлопнув дверью, вышел.

– Почему именно он? – спросила милиционер. – Его машина?

– Потому что он… Потому что его машина…

Ворвался, держась за сердце, Иван Иванович.

– Сколько я должен заплатить? – с порога спросил он. – Я отец.

– Много, – сурово сказала милиционер.

– Ничего, – ответил Иван Иванович. – Я богатый… – И полез в карман. – Как это у вас делается? Прямо вам? Или через сберкассу? Или этому, потерпевшему? – И Оле: – Сейчас пойдем домой, и я тебя выпорю…

Милиционер с интересом наблюдала за комедией.

– Она знает, – тихо сказала Оля Ивану Ивановичу.

– Что она знает? Что? – Он вытолкал Олю из кабинета и встал перед милиционером, распахнув пальто. На нем был уже ему тесный старый пиджак с орденами и медалями, и живого места на пиджаке не было.

– Убедительно, – сказала милиционер.

– Извините, – сказал Иван Иванович. – Уже лет двадцать не надевал… Жмет под мышками… И вообще…

Лорка обрабатывает Олины порезы.

– Как Клавдия говорила? Новая шкура нарастет, крепче прежней… Дубленочкой станет…

На стене их комнаты висел очень плохой портрет Клавдии Ивановны. Его, видимо, увеличили с маленькой фотографии. Рядом был тот же Макаренко, тот же Ульянов. Полка с теми же самыми книгами. На доске было написано: «Весна и свобода». Девчонки толстыми ломтями резали батон и колбасу, наливали чай в граненые стаканы. Почему-то на стуле стоял дешевенький какой-то покосившийся фруктовый торт.

– Катька! – сказал Муха. – У тебя рука набита делить на семь.

И тут мы видим Ивана Ивановича. Он на корточках настраивает маленький телевизор. Рябит экран, но уже во всю мощь слышна песня «Миллион, миллион алых роз».

Девчонки смеются, потом подпевают. Оля дирижирует.

На весь экран ее тонкие красивые пластичные руки в смазанных йодом ссадинах до самого локтя.

«…свою жизнь для тебя Превратил в цветы…»

Покидаем мы их постепенно. Вот они уже видны только в окно.

Вот красивый старый обреченный дом. На фоне синего неба навис над ним синий небоскреб.

Знакомая «баба» замерла в ожидании своего часа.

Перепоясанные веревкой с ленточками шумят, шевелятся нежные, красивые березки.

Колышется дощечка «Штраф 1000 рублей».

Конец